



**МЕЧТА  
О ДОМЕ**

РАССКАЗЫ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ











# МЕЧТА





# О ДОМЕ

РАССКАЗЫ  
ФИНСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1982



*Составитель*

**А. МАНТЕРЕ**

*Послесловие*

**ГЕННАДИЯ ФИША**

*Художник*

**А. ТАРАН**

## Папоротник

### Легенда

В лесу растет папоротник. Ученые говорят так: «Папоротник относится к споровым растениям. Он не цветет. Когда споры попадают на влажную почву, вырастает первичный стебель, из которого впоследствии развивается само растение. Многие папоротники предпочитают затененные и влажные лесистые местности. Некоторые виды мелких папоротников растут также на северных склонах холмов и скал».

Но легенда умнее. Она повествует о том, как возникло семейство папоротников, которые растут только врозь, а не группами. И в отношении их даже ученые соглашались с версией легенды...

Жили однажды старик со старухой. Услышал как-то старик, что обратился король к народу: «Тот, кто угадает первое слово из самой красивой и самой любимой песни короля, получит место конюха при лучшем королевском рысаке».

С того самого дня начал старик думать только о слове.

Избенка у старика со старухой была маленькая и захудалая. Летом сквозь щели в стенах пекло солнце, зимой мороз протягивал руку. На обочине глодала траву одна-единственная тощая коровенка.

Как-то старуха подоила корову и сердитым шагом вошла в избу с каплей молока на доньшке посуды.

— Тоже мне работник, знай себе сидит, уставившись в пол.

— Я думаю о слове, — ответил старик. — При королевском дворе тепленькое местечко есть, одно слово его дать может. Уж коли и не суждено того рысака чистить да золотую уздечку в руках держать, так я бы рад был

хоть за королевскими свиньями ухаживать. Да и отчего ж не ухаживать? Живут они в серебряных свинарниках, пшеничный хлеб едят. Даже за курами королевскими согласен смотреть. Все равно это лучше, чем в нашей избенке мерзнуть: вон мороз так и норовит поздороваться, сквозь щели в стене руку подает...

— Почини стену, почини.

— Какой прок ее чинить... На лугу у нас камней полно. Пошел было косить — коса сразу же о камень сломалась. Вон в углу лежит.

— Убери камни с луга, убери.

— Какой прок их убирать, все равно всех не соберешь.

И снова старик сидел, подперев щеку рукою и мечтал...

— Там, далеко за лесом, стоит королевский замок. В ясную погоду видно, что его башни до самых небес залиты солнцем.

— Ну, это-то уж враки. Небось не первое лето здесь на холме живем, а башен что-то не видывали. Конечно, можно всякое вообразить, даже самого себя флюгером-петушком на шпиле башни, если ничего не делать, а только сидеть сложа руки.

И старуха принялась причитать:

— Ох, я горемычная, сосватали меня за этого лентяя. Говоришь ему о работе, велишь косу наточить, велишь поле вспахать, а он торчит, как пень, на одном месте. А стоило какую-то глупость услышать — рад в лепешку разбиться, королю угодить. Сидит тут, всякую чушь мелет.

Утром петух с насеста кукарекнул, и тут же поднялась старуха. А старик только на другой бок перевернулся. Вдруг его словно по голове стукнуло: а может, петух то слово знает, ведь пение — его служба.

Тайком от старухи скормил он петуху хлебные крошки. И петух распелся. Вскочил на забор, потом — на ворота, с ворот — на крышу, и все поет, грудь раздувает, пуховыми шпорами трясет. Но старуха заметила проделки старика.

— Ах ты негодный, кормишь этого бездельника!

— Может, петух то слово знает, ведь он певец от рождения. Да и что эти крошки по сравнению с королевскими хлебными амбарами!

Петух снова закукарекал. Тут старуха взяла палку, бросила ею в петуха и крикнула:

— Пой не пой, а горло тебе все равно перережут!

Не знал петух того слова, хотя и наелся хлебных крошек так, что зоб стал круглым. Старик спросил еще у кошки, спросил у собаки, посидел на крылечке да порасспросил живших на дереве во дворе ябликов. Не знали они слова, совсем о другом распевали. Тогда старик решил пожертвовать последними зернами, пиво сварить — авось придет слово, когда кровь закипит, подумал он. Но старуха нашла бочку, вылила все на землю. Старик снова сварил бочку пива, но теперь решил быть умнее: спрятал бочку в землю, зарыл ее в избе под скамейку. Пусть там спокойно бродит. А старуха сидит на скамье и ничего не замечает. Старик у стало смешно.

— Ты еще смеешься?! Что это тебя так рассмешило? — спрашивает старуха.

— На это место хоть пономаря сажай, — только хихикнул старик в ответ, а про себя добавил: «И тот не догадается, что под скамейкой пиво бродит».

— Ах, несчастный, теперь ты пономарями бредишь. Может, еще каких церковников приплетешь к своему бреду?

— На это место хоть самого епископа сажай, — говорит старик и снова про себя добавляет: «И тот не догадается, что там, под скамейкой, силу свою пробует».

«Плохи его, бедняги, дела!» — подумала старуха и пошла в укромный уголок поплакать. Но скоро обратно вернулась, ткнула старика в бок, чтоб очнулся.

— В золоте ходить любой согласится. Но если один только и делает, что небылицами голову себе забивает, то другому приходится мозгами шевелить. Если один только и делает, что в пол уставившись сидит, то другому приходится самому о хлебе думать. Иначе с голову помрешь.

И старуха наварила себе каши мучной, налила в нее молока, положила масла и стала есть, да назло так громко, чтоб старик у слышно было. В одном конце избы старик жует хлебную корку, а с другого конца раздается старухино чавканье. «Пусть ест, пусть ест, в королевском замке старухину кашу даже свиньи жрать не станут», — думает старик.

Когда пиво было готово, старик открыл бочку. Он пьет себе, напевает да приплясывает один в избе. Нос у старика крючком, чубук трубки крючком, пьексы тоже крючком. Негнущиеся ноги с трудом стараются припомнить, как они плясали в молодые годы. И до чего ж радостно старику! Но тут старуха в избу ворвалась да в волосы ему вцепилась.

— Ишь, расплясался! Ох, я горемычная, попала в жены к воробью-попрыгушке. Ну, что это за жизнь: ко-са на гвозде ржавеет, дрозд на обухе гнездо вьет, а этот дурень знай себе пляшет...

Ночью старику приснился сон. Будто его лошадь, что околела от голода минувшей зимой, в избу входит.

— Ты ли это? — спрашивает ее старик. — И бока толстые, и шерсть блестит?

Тогда лошадь говорит:

— Иди в лес, иди, там слова растут.

И тут же исчезла.

Старик проснулся, встал с постели, тихонько, чтоб старуху не разбудить. Бесшумно открыл дверь, прошел через двор в сторону луга и дальше к опушке леса.

— Может, и впрямь там слово то найду.

Наклонился он к сонным луговым цветам. Поднял ландыш, пощупал змееголовник, заглянул глубоко ему в глаза. Затем побрел вдоль берега озерка. Потянувшись, достал кувшинку, раскрыл замкнувшийся бутон. Но не нашел старик слова. Так ни с чем домой и вернулся. На следующую ночь снова в путь отправился, и на третью — много ночей бродил он в лесу.

— Чего по ночам шатаешься? Ну что это за жизнь: целый день я по хозяйству кручусь, и даже выпастись как следует не дадут, — ворчала старуха.

Вечером она снова наварила себе мучной каши, ела ее одна да громко чавкала — может, старик хоть от голода образумится. Но старик смиренненько в уголке сидел и ничего не сказал старухе, ни дурного, ни хорошего. Смотрел старик, как солнце опускается за лес, и думал: «Там проходит дорога, что в королевский замок ведет, по ней я и отправлюсь, как только слово окажется в моих руках. Ну и хорошая жизнь у меня будет! Стану коней чистить или за курами смотреть, все равно. Не будет креста на шее — старухи злой. Там и в гости сходить можно, как только от работы время оста-

нется. Буду пить парное молоко, есть колбасу да ходить из дома в дом.

— Целый день бездельничает, а ночь всю напролет по лугам носится да травы разглядывает, — брюзжала старуха. — Меду в них ищешь, что ли?

— Спрашивает, будто не знает, чего, — отвечает старик.

— Да вот же на подоконнике цветы всякие растут, — попыталась схитрить старуха. — Есть и бальзамин, и бегония, есть и гloxиния, и фуксия — чего душе угодно.

— Нет проку ни в бегонии, ни в бальзамине, — только и ответил ей старик.

Под вечер он снова отправился в лес. Времени было в обрез, приближался последний день королевского срока. Старик взбирался по склонам гор, спускался вниз на собственных ягодицах по мокрым мхам. Даже в болото забрался. Там цвели грушанки. Старик обратился к ним:

— Малы вы, но красивы. Уже по виду вашему заметно, что звездам небесным вы двоюродными сестрицами приходитеcь. Если знаете то слово, подскажите человеку. Когда стану ходить по королевским палатам, не забуду вас.

Но грушанки молча сложили все свои пять лепестков. Тогда старик наклонился к болотным лилиям: «Может, слово у них, они такие крохотные, — и небось спрятано в таком месте, где не каждый догадается поискать».

Один восход солнца оставался до назначенного королевем срока. Тут старика охватила тоска: «Нет на поверхности земли того слова, я обыскал каждую травинку. Оно, видно, скрыто в тайниках гор, на дне озер или в глубине земли. Как его добыть оттуда? Не найду слова — не видать и королевских хором. Знать, придется мне, горемычному, с злой старухой в бедности дни доживать».

Отправился старик в высокий ельник, туда, где до него и нога человека не ступала. Он шел долго, спотыкаясь, наконец добрался до места. Начал бросать камни в глубокие ямы: «Как знать, может, там сидят ведьмы, в руках слово держат. Испугаются — и выпустят спросонья», — решил он.

Кидал он камни да скатывал в ямы глыбы большие, хотя на своем поле с камнями хуже старухи справлялся — силенок не хватало. Потом крикнул старик в яму, но только эхо ему ответило. Устал наконец, сел отдохнуть. Шел мелкий дождь, ели вокруг вздыхали. Старик снова вспомнил, что срок-то на исходе, и начал с тоски-печали землю у еловых корней ногтями скрести.

— Не растет ли здесь слово? — крикнул он в расщелину. — Если там кто слово в руках держит, пусть быстренько выпустит его! Иначе горе мне!

Старик плакал, топтал землю, скреб ногтями — даже из сил выбился. Снова сел отдохнуть.

Тут проснулась Хозяйка Земли. Рассердилась она и закричала громко:

— Кто там скребется? Кто ночи напролет на крыше моего дома возится? Сюда, в царство подземное, через дверь входят, а не через крышу, да и то, если сама Смерть за руку тянет. Эй, слышите, стражи, кто там покой нарушает?

— Это человек, — прошумели ели, — человек нарушает покой.

— Гоните его прочь. На этот раз у нас вдоволь людей, за дверью вон еще гряда лежит. Я желаю спать спокойно, завтра предстоит трудный день: надо рассортировать ту гряду, перемыть кости, от грязи их очистить, потом отполировать. И сделать из тех костей новых жильцов — а это нелегкая работка. Гоните его так, чтоб другой раз не повадно было на крыше моего дома скрестись.

— Не уйдет он добром, — вздохнули ели. — И нас уже печаль гложет, корни он наши ломает.

— Ну и времена! — простонала Хозяйка Земли. — А чего он, собственно, хочет?

— Слово он хочет найти, первое слово любимой песни короля.

— Так и дала я ему слово! Очень надо! Все слова у меня за семью запорами, и я не стану их отпирать. Гоните прочь человека!

— Помоги человеку, — вздохнули ели. — Человек — родня нам, хоть и дальняя, но все-таки родня. И не забывай, тебе же его кости когда-нибудь достанутся.



— А почему мне знать, будет ли от них какой прок. Иной раз только понапрасну трудишься. Много сюда прибывает такого добра, а толку — чуть, и то лишь после бесконечных варок да перетираций. Руки болят от трудов, а тут еще и ночью спокойно не поспишь, — донесся голос Хозяйки Земли. — Гоните его так, чтоб сразу очутился там, откуда пришел.

Но ели все просили:

— Дай слово, одно-единственное слово человек просит.

— Ну и времена! — снова сказала Хозяйка Земли. — Ладно уж, но только не целиком, это не в моих правилах. Дам пока одну ножку, хватит с него...

Пошла в амбар, открыла все семь запоров, отщипнула от одного маленького-премаленького словечка кусочек ножки вместе с пальцами, ткнула его вверх сквозь крышу и крикнула сердито:

— На, получай!

Земля хрустнула. Из почвы, сжавшись, вылезла зеленая ножка слова и растопырила свои пальцы у еловых корней — вот он, папоротник! \*

А старик сидел пригорюнившись. Услышал он звук, оглянулся и удивился.

— Вот так-так! Своими-то собственными глазами да такое чудо увидеть! Поднимается из земли, в точности как человек с постели встает...

Набил старик трубку и снова начал размышлять:

— На траву не похож, будто пальцы есть... Какой, любопытно, цветок появится, когда время придет?

Старик был так удивлен, что забыл, зачем в лес пришел, забыл и про сладкую королевскую еду и про рысаков. А солнышко между тем уже над лесом поднималось.

Вдруг с дерева на лист папоротника упала птичка и осталась лежать с поникшей головой. Старик взял птичку в руки и заговорил, растроганный:

— Отчего погибла птичка, маленькая ты пернатка? Вся закоченела, бедняжка. Видно, и жизнь-то в тебе больше не теплится.

---

\* Игра слов: по-фински «папоротник» — «*Sananjalka*», что в буквальном переводе означает «ножка слова». — *Здесь и далее примечания переводчиков.*

Поднес он птичку к уху, прислушался. Передвинул трубку с одного уголка рта в другой.

— Бьется еще сердечко под перышками, бьется. Отнесу-ка птичку на лежанку, отогреется — не одну еще песенку поет.

И старик побежал к дому с птичкой за пазухой. Забыл, что последний срок-то уже на исходе, забыл, что солнце стояло высоко, бежал так, что носки пьекс искры высекали. То и дело дышал в птичьи перышки, согревал птичку, приговаривая:

— Не дадим так просто певцу умереть...

Когда уже дом был близко, птичка ожила. Услышала она речи старика и говорит:

— Беги, старик, к королевскому замку, беги изо всех сил. Слова я того не знаю, но зато петь умею. У самой Хозяйки Земли слезы в глазах блеснули, когда она мою песню слушала. Я спою королю тысячу песен, одного-то слова они уж как-нибудь стоят.

И старик со всех ног бросился к своему двору, откуда дорога к королевскому замку шла. У колодца стояла старуха, лен теребила. «Ага, идет домой накопец. Сейчас я научу его уму-разуму», — подумала старуха, увидев бегущего.

Но старик и не собирался в избу входить. Он побежал по двору, к лесной опушке.

— Куда это ты спешишь, что несешь? — прокричала старуха. — Ну, видно, конец света настал, совсем спятил старик!

Старуха помчалась за стариком. Только старик через забор перелезть стал, старуха хватъ его за полы пиджака. Но старик оказался проворней. Ничего не могла поделать старуха, только крикнула ему вслед:

— Вот уж, поди, чудо будет, если ты себе ребра о королевские ворота не переломашь!

Но старик все продолжал бежать. Вот добежал он до ворот замка и достает птичку из-за пазухи. Но птичка была мертва, задохнулась она, пока старик бежал.

Не постучался старик в ворота, даже взгляда не бросил на сверкающие запоры. Повернул прочь и медленно побрел по королевскому лугу, качая на ладони маленькое тельце птички и приговаривая:

— Была бы ты жива, твою песню послушал бы король и назначил бы меня конюхом при своем рысаке.

Похороню-ка я тебя здесь, ведь умерла ты с песней на устах. А сам вернусь домой. Небось, не чужая старуха. Но только я ничего ей не скажу. Если спросит, отвечу, что пошутил, мол. И раздобрится старуха наконец, даст мне каши.

Похоронил старик птичку около стены замка, среди цветов. Перевязал крест-накрест две травинки, сам перекрестился, вытер слезы и сказал вместо похоронной речи:

— Когда и надо мной такой знак появится, кончатся мои муки...

Но молва о старике словоискателе снова дошла до ушей Хозяйки Земли. Тучи его поиски видели, дождами домчали весть до земли. Цветы видели, вся большая родня умершей птички видела. Много было у бедного старика заступников. Когда Хозяйка Земли, коротая вечер, полировала кости, а служанки складывали их потом в кладовую, то собакам в усадьбе приходилось лаять неумолчно: к дому Хозяйки Земли подходили все новые и новые вестники. Цветы рассказывали о виденном, убеждали Хозяйку:

— Хороший старик. Бережно с нами обращался, лепестки приоткрывал осторожно. Не лбмал понапрасну, не бросал умирать на сухую землю.

— Сестрицами звезд небесных нас называл, — говорили грушанки, стоя в заднем углу избы, — а это для нас большая честь.

— Ну и что ж, что называл. От его слов вы все равно ничьими сестрами не стали, — отвечала Хозяйка Земли. Ее всегда немного раздражали эти сонливые постояльцы болотных берегов. Сама она была трудолюбива, и ей хотелось, чтоб и дети ее не ленились, на какое бы место она ни поставила их.

— Да ведь среди нас есть петух! — закричали прошлогодние цветочки льна со старухино поля. — Он близкий свидетель, он тот, кому старуха голову отрубила.

— Поставить петуху голову на место и привести сюда! — резко приказала Хозяйка Земли.

Петуху срочно приставили голову и накрепко пришили ее. Выпятив грудь, тряся пуховыми шпорами, петух начал давать свидетельские показания.

— Держись сути, — наставляла его Хозяйка Земли. — Никакой лести. Расскажешь лишь коротко, что тебе известно о характере старика.

— Хлебными крошками он меня кормил, крошки перед моим клювом рассыпал, хотя сам был голоден. Ох, ну и жена досталась бедняге...

Вдохновившись, петух задрал вверх одну ножку и продолжал:

— Сейчас я эту скрягу так вам распишу, так распишу, что на ней живого места не останется...

— Достаточно. Личная обида свидетеля налицо. Голова твоя на месте, и будь доволен, нечего на старуху больше обижаться.

Выслушали еще многих свидетелей. Каждый рассказывал о старике только доброе. И вдруг явилась целая депутация защищать старика. С луга, что у ворот королевского замка, — бабочки; из лесу, из-под еловых корней, — цветы. Влетели в дверь птички разные, червяки переползли через порог...

— Родственницей приходилась нам покойная птичка, — прочирикали зяблики, — она из племени ольховников. И жила в березовой роще, в той, что позади ельника.

— Я ее двоюрр-род-ный бр-рат, бр-рат! — прервал их ворон. Он тоже прилетел как свидетель, ведь и ему старик бросал зерна, лишь только отворачивалась зоркая старуха. — Бр-рат! — каркнул он снова во весь голос.

Другие приумолкли, им стало стыдно за ворона, который вел себя так неприлично.

— Красивые похороны устроил он птичке, — немного погодя заговорили дрозды. — Даже с поминками. Карман наизнанку вывернул, последний кусочек хлеба нам раскрошил. Мы клевали крошки и оплакивали покойницу.

Смягчилась душа Хозяйки Земли. Подошла она к окну, высморкалась и сказала вот что:

— Я злая старуха, признаюсь. И сердце у меня суровое. Но несправедливости я не выношу. Стара я, много на своем веку перевидела, вот душа и очерствела под ударами. Не устоит наш огромный род, если его мягкой рукой направлять, — а не на кого мне опереться, самой приходится всеми делами вершить. И скупа я тоже,

признаюсь. Старику-то я от целого слова только кусочек ножки с пальцами дала. Но где же потом новые слова взять, если их начнешь раздаривать во все стороны?

Однако я сейчас укрошу свой нрав. Род людской я не предам. Коли человек мне по душе пришелся, плачú ему щедрой рукой и стою за справедливость. Итак, за дело, все за дело. Ты, Смерть, прилежная моя дочь, пойди к старику. Обеспечь ему хороший, спокойный конец. Не пугай, как у тебя в обычае. Приведи старика сюда. И баню жарко вытопите. Прямо на банный полук отведем старика, пусть от холода жизни ноги свои отогреет. Спину помоем ему лучшей корневой щеткой, какая в доме найдется, очистим от грязи людской.

Старуху тоже сюда приведи. Но сперва попугай ее, да посылнее, однако ж в меру. Схвати ее за подол первый раз в то лето, когда лен будет самым высоким, а во второй, последний раз схвати, когда у коровы лучший удой будет. Вот тогда хватай да сюда веди.

Старуха пусть в предбаннике стоит и ждет. Придет и ее черед на полук забраться, но сначала сквозь ее язык, которым она старика подкалывала, пробьем-ка мы ледяной шип длиной в несколько столетий. Пусть шип постепенно тает. А когда старуха попадет на полук, вы, служанки, посыпайте ей пальцы ног льдинками, а пальцы руки жгите крапивою — той руки, что кашу мучную варила, когда старик голодал. Но другую руку мы пощадим, ибо добрый труд она совершала. На ту руку положим теплую припарку. Ведь было в старухе и что-то хорошее. Трудолюбие я ценю и не забываю одарять перстнями те пальцы, что устали, теребя лен жизни.

И отправилась Смерть за стариком и старухой.

— Вот еще что мы сделаем, — сказала Хозяйка Земли. — С крыши своего дома я не стану стирать память о старике. Коли кости у человека прочные, работой закаленные, и череп его изогнут добрыми мыслями, то за это я вознаграждаю его. Пусть мой дар принадлежит всему роду человеческому. Ножка слова, которую я сунула под корни ели, пусть останется там навеки. Пусть множится и заполняет следами своих шагов подножия всех елей, пусть карабкается на склоны скал, проникает в болота и низины, заполняет лес-

ные поляны и края канав. Это новое племя пусть именуется ножкой слова — папоротником. Короля племени я назову орляком, чтоб оно напоминало людям о птице, крылья которой рассекают чистейший воздух. Исцелителя болезней я назову щитовником, пусть он помогает человеку быть здоровым и сильным. Многоножка, любительница скал, пусть улещает камень в пользу человека, цистоптерис ломкий пусть напоминает ему о краткости бытия, стройный страусоник пусть радует глаз человека.

А мудрецом племени я назначаю обычный папоротник. Раз в сто лет я буду возлагать цветок на его листья. В полночь засияет он во всей своей дивной красе. Но только чистые глаза увидят его, только трудолюбивый искатель истины найдет к нему путь. Этот цветок откроет людям ворота в замки королевские. А когда к моим дверям подойдет человек, держащий в руке тот цветок, ничего у него не спрошу, не стану допытываться — в дом проведу, низко поклонюсь. Родственник, ровня пришел в дом.

Таков мой дар человеку в память о старике словоискателе.

## Реквием

Да, не знавал я, кто вперял бы  
Так пристально глаза  
В клочок лазури, заменявший  
В тюрьме нам небеса.

*О. Уейль. Баллада Радзинской тюрьмы \*.*

Мы знали все, что ее прошение о помиловании отклонено и что она должна умереть. Мы знали, но не верили...

Она была простая работница. Она помогала лесогвардейцам, распространяла антивоенные листовки. Ее приговорили к смерти...

Она была стройная средних лет одинокая женщина, всю жизнь она трудилась на благо других, всегда была отзывчива, всегда готова прийти на помощь...

Ее не знавшие устали ноги исходили немало длинных, извилистых дорог, чтобы помочь тем, кого преследуют. Никакая опасность не останавливала ее, она шла с улыбкою по своему тяжкому пути... шла, чтобы помогать...

Ее не знавшие устали быстрые руки не отдыхали даже в тюрьме. В ожидании смерти она шла целыми днями... совсем спокойно... Даже в последний день...

Когда ей сообщили, что ее прошение о помиловании отклонено, она улыбнулась: «Что ж, я уже пожила...»

Все-таки они предложили ей помилование — если она выдаст тех, с кем вместе действовала.

«Что ж, я уже пожила», — сказала она с улыбкой.

Мы знали, что она должна умереть, но не верили.

На могилы тех, кто в 1918 году был расстрелян карателями за свои убеждения, позднее были возложены венки, даже представители властей произносили на их могилах речи... и их вдовам платили пенсии.

---

\* Перевод В. Брюсова.



Невозможно, чтобы ныне казнили таких же людей, тех, кто в силу своих убеждений действовал против этой войны и даже против своей страны... когда народ в своем неведении шел навстречу несчастью.. «Невозможно», — говорила я себе. «Невозможно», — говорила я другим, тем, кто во власти страха перешептывался внутри тюремных стен.

Она, приговоренная к смерти, спокойно улыбалась: она был уверена в своей правоте и готова ко всему. Ибо знала, что у тех нет жалости, нет человечности. И она не просила об этом.

Старый надзиратель видел в глазок, как она встала на табурет и пристально смотрела в тюремное окошко на облака, на свободу. Надзиратель закрыл глазок тихо-тихо...

Когда ей сообщили, что под утро она должна умереть, она вздрогнула... и потом продолжала работать.

Над тюрьмой лежала тень смерти. Ночью в тисках страха всхлипывала какая-то девушка-уголовница, днем по серому поднебесью ползли рваные осенние тучи. Много мрачных ночей мы прислушивались, затаив дыхание: вот сейчас раздадутся шаги палачей, сквозь ночной мрак донесется ее прощальный крик... Много ночей вскакивала я с постели, цепenea от ужаса. Мне казалось, будто я слышала пронзительный возглас:

«Прощайте, товарищи!..»

А человек, от чьего росчерка пера зависели наша жизнь или смерть, возможно, съев плотный ужин, шутил в кругу своих друзей, с улыбкой советуя: «А теперь ледку на живот, ледку, полегчает...» И засыпал в мягкой постели, довольный проведенным днем. Он исполнил свою обязанность. И, наверное, перед сном, скрестив пальцы, молился своему господу — а наутро подписывал новые смертные приговоры.

Серые тучи плывут над тюрьмой... тучи, тучи, бесконечные тучи на нашем небосводе — лоскутке величиною с носовой платок...

Девушку-уголовницу впустили подмести мою камеру. Девушка был странно молчалива. Надзиратель, ко-

торый открыл ей дверь, тоже казался каким-то застывшим. Вдруг из горла девушки вырвалось рыдание, она взглянула на меня с жалостью. Тогда я понял...

Это свершилось.

Вечером женщину отвели в камеру смертников. Она простилась с товарищем по заточению. С высоко поднятой головой прошла она в камеру смертников. Под утро во дворе прогудела автомашинка...

Девушка-уголовница с жалостью смотрела на меня.

Наверное, таков будет и мой путь.

Она, словно добрая тень, тень друга, шла передо мною с высоко поднятой головой и без слов, жестом твердой рабочей руки говорила: «Не бойся. Смерть не существует для тех, кто умирает во имя жизни».

Она была простая финская женщина-работница, она любила свою страну и свой народ, во имя его свободы она отдала свою жизнь... неся клеймо предателя родины.

Она шла навстречу смерти с песнею.

Ее звали Мартта Коскинен.

## Бабушкины руки

Мы с бабушкой сидим на скамье у печки в знакомой избе и пытаемся беседовать — вспоминаем прошлое, те дни, когда я был еще ребенком. Я вечно вертелся возле бабушки, и летними вечерами, когда она отправлялась доить корову, я тоже шел с ней, держась за ее подол. С тех пор прошло порядочно времени, и бабушке уже трудно привести в порядок свои мысли: она часто путает меня с предыдущим поколением — с моим отцом, который в свое время держался за тот же самый подол, когда бабушка шла доить корову. Поколения росли и старились, а бабушка все живет, ей уже скоро девяносто, потому-то и трудно ей теперь собраться с мыслями.

И только одно твердо помнится ей — труд, он пронизывает всю ее жизнь. За эти девяносто лет он вошел в нее настолько, что стал как бы частью ее самой.

Вот и сейчас, когда мы сидим на скамье у печки и пытаемся беседовать, она тоже работает. Латает какое-то старое одеяло, которое для нее притащили с чердака; принесли так, видимости ради, хоть и знали, что одеяло это никуда не годится. Его принесли потому, что бабушка не может сидеть без дела, она не может не работать, и только мы, молодежь, видим, что из этого, по правде говоря, мало что получается. И одеяло и бабушка отжили свой век, и ничего тут не поделаешь — их конец уже близок.

Во время нашей медленной и часто прерывающейся беседы я смотрю на бабушкины руки. Они беспокойно движутся по одеялу и с помощью иглолки и нитки стараются нашить что-то похожее на заплату.

Эти руки, которые все еще пытаются работать, сморщились, их скрюченные пальцы шевелятся с трудом.

Один палец совсем бесформенный. Я помню его с тех пор, когда мальчишкой бегал, держась за бабушкин подол. Мне говорили, что это у нее от серпа. Случилось это, должно быть, в то далекое время, когда бабушка жила у какого-то хозяина «из милости». Еще тогда, совсем ребенком, начала она работать и как-то поранила себе палец серпом. Никто не стал заниматься лечением...

Когда я смотрю на эти шишковатые, со скрюченными пальцами, такие беспомощные сейчас бабушкины руки, мне кажется, я понимаю, почему они и в девяносто лет не умеют отдыхать. Это руки, которые трудились всю жизнь, они родились, они существовали только для труда, — вот и сейчас они почти инстинктивно движутся, выполняя это свое назначение. Такова их судьба до самой могилы. Чуть не с первых дней своих они трудились и будут трудиться до последних минут.

Кто знает, думаю я про себя, быть может, эти руки когда-то сжимались в кулаки, протестуя против судьбы, но это было так давно... И конечно, протест тот был тайный и бессильный. Из книг я знаю, как тяжело приходилось тем, кто был взят «из милости» в богатый дом. Я представляю, как у нее постепенно проходил мучительный гнев, когда воскресным утром бабушка садилась на церковную скамейку и огрубевшие от работы руки брались за молитвенник; эти руки, уже тогда почти бесформенные, соединялись в молитве и, может быть, обретали на мгновение покой... А потом они снова хватали грабли, серп, вилы, подойник. Я рисую в своем воображении счастье этих рук, когда они обвивали шею любимого, ласкали новое поколение, ухаживали за порослью третьего поколения, щеплявшегося за бабушкин подол... А потом снова работа и работа.

Когда, сидя на скамейке у печи и глядя на эти беспокойные руки, я думаю обо всем этом, в душе моей поднимается безграничная благодарность. Судьба этих рук указала мне дорогу, по которой я должен идти. Они помогли мне найти эту дорогу и всегда оставаться на ней. Эти руки научили меня никогда не отказываться от того, что я считаю правильным, — да, это тоже заслуга бабушкиных рук, не знающих покоя. Я никогда не забуду их.

## Свободное воскресенье

То воскресное зимнее утро после бесконечной пурги было на удивление ясное. Белоснежная пелена окутала крыши низких домиков глухой деревушки, завалинки, дороги — да, собственно, эти колдобины и дорогами-то трудно назвать. Снег был чист и нетронут, здесь не прошел еще ни один путник: в воскресное утро люди не спешили выходить из дому...

Избушка вдовы стояла в стороне, на опушке большого леса. Там они и жили — изможденная, болезненная вдова и ее пятнадцатилетний сын Акэ, который тяжелым трудом лесоруба добывал жалкий кусок хлеба для себя и матери. Правда, иной раз вдове приходилось прибегать к помощи общинного призрения, но все же они кое-как тянули. Хорошо еще, что не надо было заботиться об одежде для Акэ: он носил все отцовское. Одежда была мальчику велика и висела на нем мешком, но что поделаешь...

Сегодня, в воскресенье, Акэ ждало небольшое развлечение. Уже на неделе он договорился обо всем с товарищами: они отправятся в село, за десять километров, там погуляют и поглазеют на всякую всячину, а потом, под вечер, пойдут в кино. Они и денег припасли для этого. Теперь оставалось только двинуться в путь. Об этом-то и думал мальчик, встав с постели чуть свет.

С некоторым неудовольствием поглядывал Акэ на перепачканные смолой валенки. Он работал в них каждый день в лесу, а сейчас снова придется их надевать. Вдруг на ум мальчику пришла превосходная, как ему показалось, мысль: ведь штанины можно натянуть поверх валенок. Конечно, будут высываться носки, но снег запорошит их, и тогда никто ничего не заметит. Ватник с большим меховым воротником выглядел, по мнению Акэ, просто роскошно, хотя был ему так велик, что мальчик буквально утонул в нем. Во всяком случае, ватник почти не ношен, и вдобавок с вертикальными карманами, в которые так приятно сунуть руки. Да, в таком наряде он вполне может пойти с товарищами даже в кино.

Итак, мальчик отправился в путь. По заснеженным проселочным дорогам он добрался до шоссе, а затем —

до развилки, где его уже дожидались товарищи. И все вместе друзья бодро зашагали вперед, отсчитывая километр за километром... Вот наконец и село. Можно начинать развлекаться — сегодня у них свободный воскресный день.

И тут их постигло разочарование: в кинотеатре шла какая-то любовная дребедень... Им эти фильмы были не по душе, навевали скуку. Но все-таки мальчики решили не отказываться от своих планов — ведь и отправились-то они в такую даль главным образом ради кино. Бродя по улочкам села, они наперебой уверяли друг друга (а каждый в душе — самого себя), что, конечно же, этот фильм стоит посмотреть, хотя он и не совсем то, чего им хотелось бы. Вернуться домой, так и не побывав в кино, — что может быть ужаснее? Надо же и им немного развлечься в это свободное воскресенье, первое за много длинных недель работы в лесу!..

Уже задолго до начала сеанса мальчики купили билеты. И вот они с нетерпением слоняются по фойе, дожидаясь, когда их впустят в зал. Их нетерпение можно было еще и вот почему понять: они так долго бродили по улочкам села, что вконец устали... А завтра им снова спозаранку отправляться на лыжах в лес и снова орудовать топором и пилой. Когда они в бездействии дожидались начала сеанса, эта мысль вдруг, словно коварная змея, вползала в головы мальчиков.

Но вот дверь распахнули, и друзья в числе первых протиснулись в зал. Но настроение у них было уже не то. Разве о таком фильме они мечтали?! И когда сеанс наконец начался, мальчики сразу поняли, что мало, очень мало было в фильме такого, на что они все-таки втайне надеялись до самой последней минуты. Но раз уж они пришли и даже билеты купили, что ж, придется и такой фильм смотреть — как-никак, у них сегодня свободное воскресенье...

Ака был, по-видимому, среди них самым разочарованным: не прошло и десяти минут, как его интерес к фильму пропал окончательно, и он стал клевать носом. Усевшись поудобнее, он тихонько вполз внутрь своего ватника и вскоре заснул. Усталость и тепло, духота — зал был битком набит — разморили мальчика, который неделями, не уступая взрослым, трудился в лесу. Ему приснилось, что он находится в укутанной снегом род-

ной избушке, лежит под теплыми одеялами в кровати, стоящей возле печки, и ждет, когда наступит утро и он снова должен будет пойти на работу...

Акэ вздрогнул во сне и проснулся. Рядом раздались смешки. Акэ смутился. Но искушение было слишком велико, и он вскоре опять уснул. И когда приятель, заметив это, ткнул его кулаком в бок, мальчик испуганно вскочил и пробормотал: «Да, да, на работу...»

Эти слова он произнес совершенно машинально, ибо они глубоко вошли в его сознание. Ведь он произносил их каждое утро, с тех пор как для него кончилась школа и он возложил на себя отцовские обязанности. Работа уже стала частицей самого Акэ, его жизнью.

Что из того, что вокруг рассмеялись? Люди не хотели его обидеть. И уж наверняка не обидели бы, если бы знали, как живет Акэ. Да он и сам смеялся, хоть и сконфуженно.

Фильм кончился. Мальчики протолкались к выходу и отправились в свой обратный десятикилометровый путь. Там, в глуши лесов, их ждали родные избушки и рано утром — подъем на работу.

Свободное воскресенье кончилось.



## Продавец птиц

Я попал туда случайно, бродя однажды рано утром по бедняцким кварталам Амстердама. Меня привела туда тесная ухабистая набережная канала, по которой я никогда прежде не ходил. Узкие, покрытые плесенью дома подымаются здесь прямо из воды, как и вдоль других каналов, однако содержимое мусорных ведер, выплеснутое из окон и плавающее на зеленоватой поверхности воды, выглядит тут еще более неприглядно, чем повсюду.

А ведь это самая старая часть города, его центр, его сити. Отсюда всего несколько шагов до вокзала, до королевского дворца, до биржи; но именно здесь размытые дождем руины красноречивее всего говорят о минувшей войне, а горы ржавеющего лома, выброшенные на свалку автомобильные кузова и кучи тряпья образуют выставку человеческого унижения, музей нищеты, открытый круглые сутки.

Когда голландская шарманка в несколько метров длиной, влекомая тремя мужчинами, выводит печальную неаполитанскую мелодию или крикливо разукрашенный американский граммофон-автомат изрыгает самбу, несущуюся из открытых дверей бара, туристы с берегов синих озер с восхищением прислушиваются к этому голосу материка. С фотоаппаратами наготове разглядывают они уличных женщин, сидящих на стульях прямо на улице, и, довольные, кивают друг другу: «Как живописно!»

Да, я попал туда случайно. Прогулка моя внезапно была прервана шагающим посреди улицы попугом. «Коко-Коко!» — услышал я и с удивлением увидел, что взрослые мужчины — шоферы грузовиков и рабочие с

тяжелым инструментом на плечах — останавливаются побеседовать с попугаем. Из-за угла появился полицейский, он тоже остановился. Каждый что-то говорил птице, которая неуклюже ковыляла по мостовой и которую, казалось, все хорошо знали.

Это не был какой-нибудь роскошный попугай из зоосада. Серенький, всего в несколько вершков длиной, видимо, *Psittacus erithacus*, — собственно, я решил так потому, что других попугаев, кроме какаду, я не знаю, а этот был не какаду. Но удовлетворимся его кличкой, ибо в любом случае он остается Коко-Коко.

Поиграв с попугаем и по привычке подразнив его, люди продолжали свой путь, а мне спешить было некуда, и я задержался. Тут я заметил хозяина птицы. Он стоял на верхней ступеньке лестницы, которая круто спускалась с улицы прямо в лавку. Это был довольно плотный, но не толстый человек. Ему было, по-видимому, лет шестьдесят, но, несмотря на преклонный возраст, держался он очень прямо, как будто всю жизнь занимался физическим трудом на свежем воздухе. О том же говорил и цвет его лица: кожа у него была здорового красного оттенка и сильно обветренная; трудно было поверить, что жил он в подвале, в задней комнатке этой лавки и, как я потом выяснил, уже в течение многих лет.

Обитатели этих кварталов всем своим поведением ясно давали понять, что их нисколько не интересуют туристы с фотоаппаратами, коллекционирующие живописные виды. Их не радовала даже валюта, которую иностранцы привозили в страну. На их лицах было полное равнодушие, порой враждебность, а однажды я сам видел, как на голову одного путешественника, целившегося фотоаппаратом в нечесаную, шлепающую стоптанными туфлями старуху, вылилось содержимое ночного горшка.

Продавец птиц был иного склада. Вокруг него, казалось, царила атмосфера дружелюбия, он спокойно сбывал свой товар иностранцам и, видимо, по природе своей был настолько крепок, что его не могло вывести из равновесия то оскорбительное рвение, с каким иностранцы роются в весьма непривлекательных мусорных ямах нищеты, которые в чужой стране так часто кажутся живописными.

Я смотрел на попугая. Опустевшая улица не представляла для него никакого интереса. Он привык к обществу, и его знал каждый, кто по каким-либо делам приходил в этот квартал. На меня он не обращал никакого внимания; он проковылял к хозяину и уселся на его вытянутом пальце.

Я стоял, опираясь на заржавленные перила лестницы, и следил за ним. Лавка находилась глубоко внизу, но через окно мне видно было множество клеток; оттуда, словно со дна каменного бассейна, доносилось беспрестанное чириканье. Надо было проявить вежливость, раз уж я подошел так близко. Я кивнул продавцу и приветствовал его по-голландски:

— Goeden morgen.

Он поднял голову, мужественную красоту которой подчеркивала седая львиная грива. Слегка улыбнувшись и тепло поблескивая глазами, он ответил:

— Goeden morgen.

Пока я размышлял, не продолжить ли мне беседу по-немецки, он сам пришел мне на помощь, спросив, какой язык я предпочитаю — английский, немецкий или французский.

— У нас каждый говорит на каком-нибудь из этих языков, — добавил он, — ведь голландский язык — смешанный.

Я ответил по-немецки и стал расспрашивать его о птицах. На дороге появился продавец пива со своей крепконогой лошадежкой и позвал Коко-Коко. Попугай заковылял к телеге, а продавец пригласил меня в лавку.

В тот раз я пробыл там всего несколько минут. Но я жил совсем рядом, в гостинице на главной улице Дам-рак, и поэтому, куда бы я ни направлялся — в зоосад, в дом Рембрандта или в парк Вондель, — я каждый раз проходил через этот квартал. Нередко я подолгу задерживался у лавки и вскоре стал считать себя одним из знакомых Коко-Коко. Постепенно глаза мои привыкли смотреть на мужчин, отмеченных печатью голода, которые с унылым видом толкали перед собой тележки с макулатурой; мне примелькались мрачные, неопрятные женщины, и даже от мерзкого запаха канала я страдал уже не так, как вначале.

Однажды я вышел из дому очень рано с намерением дойти пешком до самого Колониального музея. Я шел

своим обычным путем, мимо биржи, в старый город; теперь я был уверен, что смогу найти там нужные мне переулки. Рабочие давно прошли, и на улицах было довольно пусто и тихо.

Дойдя до улицы Коко-Коко, я увидел, что попугай сидит на перилах лестницы и дремлет, наслаждаясь утренним солнцем. Дверь в лавку была открыта. У меня было с собой немного хорошего трубачного табака, который, я знал, очень нравится Хансу Буману — так звали продавца птиц, — и я спустился к нему.

Войдя, я заслонил собою свет. Буман обернулся, поздоровался и попросил отойти от света. В руке у него был железный стержень, которым он пробивал отверстие в оштукатуренной стене. Я спросил, в чем дело. Он подозвал меня поближе и сделал знак приложить ухо к стене.

Сначала я ничего не услышал, но вот Буман осторожно постучал по стене, и мы снова затихли. Тогда в ответ послышалось легкое постукивание. Я сразу понял, что это не кирпичная стена, а просто дранка, покрытая штукатуркой, в которую Буман уже успел всадить свой инструмент.

— Раньше здесь проходила вентиляционная труба, но из нее несло холодом, пришлось забить, да заодно и стену сделали поприличнее.

— Но что же там стучит? — спросил я.

Буман взял меня за локоть и подвел к лестнице. Показывая на вентиль в стене, он пояснил:

— Тогда я не закрыл вот это, а теперь боюсь — туда залетела птичка и не может выбраться.

Он снова взялся за стержень. Однако ржавчина настолько разъела жечь, из которой была сделана труба, что он без труда проделал в ней отверстие голыми руками.

Я с удивлением следил за его действиями. Трудно было предположить, что за этим крупным, резко очерченным лбом может родиться хотя бы одна сентиментальная мысль.

Просунув руку в отверстие, он вскоре вытащил оттуда воробья — пыльного, перепачканного известкой и очень жалкого на вид — и поднес его к свету. Отряхнув перышки, воробей несколько раз подпрыгнул на

ладони Бумана совсем как здоровая птичка. Очевидно при падении он не повредил себя.

Буман вынес воробья на улицу. Я вышел следом. Буман раскрыл ладонь, воробей соскочил на тротуар, чирикнул раз-другой и, вспорхнув, полетел на другую сторону канала.

В ту минуту во взгляде Бумана была отеческая, ласковая теплота, и это как-то не вязалось с его суровым, мужественным обликом. Еще больше удивило меня то, что он долго стоял на верхней ступеньке лестницы, с любовью глядя на этот убогий квартал, пропитанный неистребимым запахом нищеты.

Но вскоре я все понял.

Когда мы вернулись в лавку, он принес из задней комнаты щетку и совок. Но прежде чем начать уборку, он засучил рукава. И тогда я увидел на его левой руке выжженные цифры. Буман прошел через концлагерь!

Он заметил мое удивление, коротко усмехнулся и сказал низким, глухим голосом:

— Очень не люблю клеток. От них на всю жизнь остается плохое воспоминание.

И через минуту добавил:

— Этим, — он кивнул на клетки с канарейками и синицами, — этим я нужен, потому что...

В это время в лавку вошел Коко-Коко и вскочил на протянутый палец хозяина.

— А этот парень, — сказал Буман, — знает только свободу. Он и дня не пробыл в клетке и умеет жить сам по себе.

Он поднял глаза к тусклому окну: за стеклом, на том берегу узкого канала темными тенями поднимались прямо из грязной вонючей воды фасады жалких домов.

— Но как уничтожить эти клетки? — тихо, почти про себя, спросил он. — Как освободить тех, кто в них родился и вырос?

С улицы послышалось тарахтенье грузовика, трясущегося по неровному булыжнику. Коко-Коко поспешно заковылял к двери. Перескакивая со ступеньки на ступеньку, он вышел на улицу поболтать немного с шофером.

## Майя Лиходейка

Майя Лиходейка, как ее называли все, жила себе тихо и незаметно, и вот ей уже стукнуло пятьдесят. Незаметно — вовсе не потому, что время не меняло ее земного обличья, так же как и любой другой женщины. Отнюдь нет. Росту в ней было почти два метра, а десятичные весы лавочника Сунделла показывали, что на каждый сантиметр у нее приходится без малого пятьсот граммов живого веса. Естественно, что в могучем теле заложены сильные инстинкты и пламенные страсти. Так обстояло дело и с Майей. Весь приход в свое время, хихикая, злословил о ее любовных похождениях. А появление на свет одного за другим ее пятерых внебрачных детей вызывало каждый раз бурные семейные сцены в каком-нибудь из домов. Только самый старший, первенец Майи, пришел в этот мир тихо, без скандалов. Зато четверо остальных, как уже сказано...

Судебный заседатель Туомас Норо пытался даже повеситься по той причине, что кумушки уверяли, будто бы младший в ту пору сын Майи Лиходейки — вылитый портрет заседателя. А когда и сама заседательша отметила это поразительное сходство, Туомас Норо не нашел более убедительного противовеса этому досадному обстоятельству, чем собственное тело на конце веревки. Разумеется, все это было просто разыграно, но супруга Норо поверила и, возможно, верит по сей день, что ее Туомас на самом деле болтался в веревочной петле. С тех пор она старается не замечать досадного сходства сына Майи с собственным мужем...

Усадьба Порсела славилась высокой нравственностью и набожностью ее хозяев. Однажды туда пришла Майя с пищадим свертком в руках. Вошла и по-

ложила свою ношу на кровать, потом развязала одеяльце, чтобы высвободить крохотные ручонки. Хозяйка удивленно глядела на нее и в конце концов не удержалась от замечания:

— Куда ж ты положила ребенка, еще, чего доброго, постель обмочит.

— Так ведь у вас у самих-то и обмочить некому. А это дар божий, можно и стерпеть, — ответила Майя.

— Что ж делать, коль нам бог не дал, — вздохнула хозяйка и, чтобы направить разговор в другое русло, спросила: — Ну, а как ты, Майя, себя чувствуешь? Чего-то с прошлой осени тебя не видно. Ты у нас тогда, кажется, лен трепала?

— Да, у вас, — подтвердила Майя. — А что, хозяин на пашне? Повидать бы надо. Дело есть. Совсем пустяковое дельце.

Хозяин был в поле, Майя направилась к нему туда. И сразу же вместо приветствия объявила:

— Девчонку притащила, помните тогда, в бане... лен я у вас трепала... Делайте с ней что хотите.

У хозяина Порсела глаза полезли на лоб. Но, казалось, сам рок в образе Майи стоит перед ним, требовательный и неумолимый. Пришлось покориться...

Девочка Майи стала приемной дочерью в семье Порсела.

Гостям хозяйка объясняла:

— Майе-то этих пискунов девать некуда, а нас господь детками не благословил, так мы...

Девочке у них было хорошо, да и хозяйка сама очень привязалась к ней. Но удивительное дело, как сильно влияло на ребенка присутствие хозяина дома! Лицо девочки постепенно приобрело черты приемного отца, и даже в выражениях их лиц было так много сходного, что хозяйка, изумляясь все больше, невольно сравнивала ребенка со своим благочестивым супругом. Разумеется, она никому ничего не сказала, а только подумала: «Не все ли равно!»

Совсем иначе обернулось дело в доме Паавола. Пришлось даже полиции вмешаться, и однажды сам ленсман явился за положенным по закону содержанием для одного из Майиных пискунов. Хозяин Паавола после этого начал пить и умер от запоя, а спор кончился тем, что сын Майи получил в наследство из всего имущества

отца какие-то жалкие крохи. На них Майя выстроила себе домишко на краю деревни Поуккала, возле поля старшего судебного заседателя Танттари.

Майя Лиходейка и вправду очень любила мужской пол. Но детей своих она любила куда больше. Однажды было собрание общины, и Майя пришла туда просить о помощи. Деревенские хозяева лишь ухмылялись в ответ на ее просьбы. Тогда Майя рассердилась, топнула ногой, в гневе бросила выразительный взгляд на некоторых из хозяев и крикнула:

— А ну, чего скалитесь? Или слов не понимаете, может, хотите, чтобы я вам спела?

И тут мужики, исходя из некоторых соображений, удовлетворили ее просьбы...

Поскольку Майя не была большой охотницей до исповеди в церкви, пробст дал ей однажды строгий наказ прийти к нему прямо домой. Майя явилась и с видом кающейся Магдалины выслушала наставления пастыря. Перед уходом она попросила дать ей немного зерна — «на зубок» своему новорожденному. Пробст согласился.

— Пойди в амбар и возьми столько, сколько сможешь унести.

Майя направилась в амбар, взвалила на спину чуть не полный мешок ржи и в самом хорошем настроении пошла домой. Пробст стоял на крыльце, онемев от изумления. А Майя крикнула на прощанье:

— Премного благодарна, господин пробст! Пустой мешок я, конечно, принесу назад...

Старший судебный заседатель Танттари, хотя и был вдовцом преклонного возраста, до конца дней своих оставался человеком жизнерадостным. Нередко он охотно проводил вечера у соседки Майи за чашечкой кофе. И что хотите, то и думайте, но, будучи на смертном одре, он повелел, чтобы за ним ухаживала Майя Лиходейка. А когда после его смерти вскрыли завешание, то обе дочери и другие родственники покойного, к своей горькой досаде, обнаружили, что наследниками довольно приличной усадьбы Танттари назначались Майя и ее старший сын, при том условии, если парень женится на матери своего ребенка, кем бы она ни была. Родственникам пришлось с этим примириться, ибо каждый видел, что молодой хозяин Танттари был как две капли



воды похож на покойного заседателя: и лицом, и всеми повадками...

Позднее Майя Лиходейка попала на хлеба в дом Танттари, где когда-то, лет двадцать пять назад, была работницей. А одной смазливой, краснощекой служанке привалило счастье стать хозяйкой дома и женой сына старшего судебного заседателя. В наши дни уже никто не осмеливается говорить о хозяевах усадьбы Танттари с презрением, ибо они являются одними из богатейших людей в приходе. А Майя Лиходейка совершенно исчезла из памяти людей.

## Немного нахальства

Парнишка стоял у дверей как воплощение робости, мямля в руках выгоревший, заношенный картузик и не осмеливался посмотреть начальнику в глаза. Он ненавидел эти свои мигающие ресницы, начинавшие отчаянный пляс, как только он отрывал глаза от пола, чтобы взглянуть на мужчину, сидевшего за конторским столом.

— Так тебе уже исполнилось четырнадцать? — спросил начальник, просматривая бумаги, лежавшие у него на столе.

— Да... то есть еще не совсем...

— Ну, а когда исполнится?

— В декабре... В день святого Нийло.

— И ты окончил дополнительный класс народной школы?

— Да, конечно.

— Та-ак. Н-да. Слишком ты еще молод. Мы не можем брать учеников моложе шестнадцати лет. Законом запрещено. Так что приходи через годик снова.

— Слуш-шаюсь...

Паренек повернулся и чуть носом не стукнулся об дверь. Поспешно просеменил он через весь закопченный цех, к выходу, и перед его взглядом, точно сновидение, пронесся блестящий парад жестяной посуды. Разочарование смешало все его мысли, и, пока он дошел до будочки привратника, им овладела безысходная жалость к самому себе.

— Ну, получил работу? — спросил его привратник, вся жизнь которого была постепенным скольжением вниз: сначала он поскользнулся и, угодив в маховик машины, потерял руку, затем, продолжая скользить, по-

пал в больницу, а оттуда — в сторожа. Теперь он уж скоро должен был съехать на пенсию и — если хватит разгона — в общинный дом призрения, где люди заканчивают свой путь в долгих сумерках, молчаливо наслаждаясь понюшкой табака.

— Не получил, — ответил парнишка со вздохом.

Старик вышел из будочки, и в его маленьких заплавленных глазках показался тусклый отблеск злорадства.

— Говорил ведь я тебе, что мастер не берет в ученики детей. Напрасно только ходил беспокоить... а потом меня же будут ругать.

Мальчик не ответил ничего, только задумчиво посмотрел на коричневую куртку привратника, украшенную блестящими жестяными пуговицами. Это была очень красивая форма, стариковский парадный мундир, лишь издали бросавший нежно-родственные взоры на грубосуконный халат инвалидного дома.

— Надо иметь полных шестнадцать лет, когда начинаешься на работу, — продолжал старик. — Во времена моей молодости было другое дело... Когда я пришел работать на завод в одна тысяча восемьсот... одна тысяча восемьсот... Ишь ты, а дальше-то и не помню... Да. Так вот, в ту пору о возрасте даже не спрашивали. Требовалось только быть старательным и смелым. А в нынешнее время надо быть смелым и нахальным... главное — нахальным!..

Мальчик надел картуз и, оставив старика с его размышлениями, зашагал прочь. Он проклинал свои ресницы, которые так неудержимо мигали, мешая ему смотреть людям в глаза. Ведь говорил, ведь наставлял учитель в последнем классе народной школы: «Друзья мои, вы теперь выходите в жизнь, так не забывайте же всегда смотреть людям прямо в глаза. Это первый признак честности...»

«Прямо в глаза», — подумал мальчик со вздохом. Конечно, надо бы так. Да только хорошо учителю советовать, когда у него у самого глаза всегда защищены очками. А как же быть, если невозможно смотреть? Если напротив тебя оказываются такие глаза, от которых твои ресницы вдруг так и задергаются? А если злые, завистливые, злорадные или осуждающие глаза — и в них тоже смотреть прямо?

Парнишка повернул за угол. Он решил во что бы то ни стало смотреть людям в глаза. Ему необходима была работа.

Трехдневные поиски ничего не дали. Это было горько и унижительно, как просить милостыню. Везде один и тот же ответ: «Слишком молод. Н-да. Так только четырнадцать? Не годится».

И все-таки он кое-чему научился. Больше он уже не моргал глазами и не заикался на первой же фразе. Опыт — эта надежная опора — помог ему крепче держаться на ногах. Теперь мальчик спокойно, как вызубренный урок, повторял:

— Исполнилось. Да. Конечно. Нет.

А в случае надобности продолжал:

— Был. Ходил. Окончил. Нет. Других свидетельств нет. Есть: Дом есть. Но отец уехал в Канаду. Да. Мать в прачечной гладит белье. Да. Трое детей. Двое младших — дома.

На третий день он перестал упоминать о том, что отец в Канаде. Это было, по-видимому, плохой рекомендацией.

— Ах, в Канаде! Ну, в таком случае над тобою не каплет. Отец, наверно, присылает вам деньги, посылки?

И тогда он уже не мог смотреть в глаза нанимателю. Взгляд его невольно опускался к полу, и длинные ресницы начинали вздрагивать, напрасно пытаясь разогнать туман, застилающий глаза. Отец действительно был в Канаде, но он не присылал ни денег, ни посылок. От него приходили только цветные открытки, два раза в год: на рождество и на пасху.

Мать — гладильщица. Чем больше она гладит чужое белье, тем больше морщинок собирается вокруг ее глаз. Мальчик заметил это, и ему стало не по себе. Ему казалось, будто мать гладила одни лишь траурные одежды.

Вечером третьего дня, когда маленькие сестренки уже спали, он попытался как-то утешить и ободрить мать:

— Я слишком молод в ученики. Но я решил, что завтра возьму место мальчика на посылках.

Он особенно подчеркнул слово *возьму*, как будто весь мир лежал на прилавке перед его мигающими глазами: бери, пожалуйста..

На следующее утро парнишка просматривал газеты. Посыльные требовались. Он выбрал несколько адресов и отправился брать место. Но к середине дня он понял, что места не берутся так просто: за них нужно чуть ли не драться. Двое знакомых ребят отвоевали места для себя. Они говорили:

— Нийло — растяпа. Он не умеет постоять за себя. Он мечтатель, а у мечтателей глаза на мокром месте, и штаны тоже.

Тогда он вспомнил слова старого привратника: «В нынешнее время надо быть смелым и нахальным, главное — нахальным». Это была мудрость старого человека, беззубое красноречие на пороге богадельни.

— Ну, какое место ты взял? — спросила мать, когда сын уже затемно вернулся домой.

— Не нашел подходящего, — ответил он коротко.

Наступило молчание, которое затянулось до самой ночи. И ночь не принесла покоя. Младшие сестренки то и дело вскрикивали во сне. Они спали на одной кровати и видели одни и те же кошмарные сны, навеянные буднями народной школы. Мать тяжело вздыхала, несколько раз приподнималась и садилась на край постели, зажигала свет, пересчитывала своих детей и снова ложилась. У нее болели плечи, а мысли были в далекой Канаде.

Мальчик делал вид, что уснул, как делают иные взрослые в трамвае, когда бывает нужно уступить место какой-нибудь старушке. Но у него были гораздо более серьезные основания поступать так. Он обдумывал планы. Мысль его работала лихорадочно, сердце отчаянно билось в груди, и в висках отдавались гулкие удары. Наконец под утро он уснул, и ему снилась бумага. Все на свете было бумажное, кругом была бумага, только бумага. Даже луна и звезды были завернуты в бумажные обертки. И мать гладила бумажное белье.

Вероятно, это был знаменательный сон. Мальчик проснулся рано, и задолго до восьми часов он уже шагал по обледелым тротуарам осенних улиц, торопясь в центр города. Он наизусть выучил газетное объявление. Небольшому оптовому магазину требовался

посыльный. Это могло решить его судьбу. Но, увы, хотя Нийло явился за полчаса до открытия, он опоздал! Восемь мальчиков пришли сюда раньше его. Они пробовали силу своих голосовых связок и дымили сигаретами.

— А ну, катись в конец очереди, — заметил один.

А другой сказал:

— Да нечего и становиться, все равно у тебя уже нет никаких шансов.

Нийло как будто не слышал этих замечаний. Он подошел к двери и решительно постучал. Через минуту дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы выглянувшая уборщица смогла крикнуть:

— Магазин открывается с девяти!

— Я по поручению директора, — ответил мальчик и проскользнул в дверь.

Уборщица заперла за ним, и мальчик оказался в темной прихожей, точно в западне.

— Выдумал приходить так рано, — проворчала женщина с упрехом. — Мне строго-настрого запретили отворять до времени.

— Приказ директора, — ответил мальчик сдержанно, доставая из кармана маленькую картонную табличку, которую он вчера снял с двери одного ювелирного магазина. Затем он спросил очень деловито:

— Директор обычно приходит отсюда? Или с другого входа?

Женщина смотрела на паренька в нерешительности.

— Нет, не отсюда... он приходит сзади, через двор, но...

— Хорошо. Я новый посыльный в этом магазине. Был не совсем уверен насчет времени открытия — боялся опоздать. Но теперь я успею еще выпить кофе.

Он шагнул к выходу и сказал повелительно:

— Закройте за мной и никого не впускайте.

Он вышел, дернул дверь, удостоверился, что она заперлась, и кнопкой приколол к двери картонную табличку, на которой изящным шрифтом было напечатано: «Место посыльного занято». После чего он засунул руки в карманы и, насвистывая, отправился осматривать витрины на соседних улицах.

Когда он через полчаса вернулся, магазин был уже открыт, но табличка на двери исчезла. Заморгав, он

стал озиаться вокруг, подозревая, что его обман обнаружен. Наконец, подбодрив себя, он решился перешагнуть порог. Но, едва войдя в магазин, так и замер на месте, чувствуя оцепенение в ногах. Те самые ребята, что спозаранку собрались у дверей, теперь все сидели в зале, и к ним прибавилось еще двое новых претендентов на место посыльного. Они все говорили наперебой, ругаясь и угрожая:

— За это надо отвести в сторонку и...

— Да просто в рожу, говорю я!.. — прозвучал громче других чей-то голос, встреченный общим одобрением.

Юный нарушитель правил игры почувствовал дрожь во всем теле. Пожалуй, он действительно растяпа и мокроглазый мечтатель, которому теперь несдобровать. Он попятился к выходу и был готов уже бежать прочь, как вдруг снова появилась уборщица и взглядом пригвоздила мальчика к двери.

— Директор ждет тебя, — сказала она.

— Я... я... Тут другие раньше меня...

— Директор велел позвать именно тебя.

Путь к отступлению был отрезан. Казалось, будто сердце терли наждачной бумагой. Соперники впились в мальчика глазами. Однако мало-помалу на его лице появилось выражение отчаянной, дерзкой решимости. Быстро пройдя через зал, он вошел в кабинет директора, почтительно поклонился и произнес:

— Доброе утро, господин директор!

Затем он медленно поднял глаза и увидел перед собой молодого мужчину, который лениво посасывал трубку, устремив на вошедшего пронизывающий взгляд. Мальчик, подойдя, положил на стол свидетельство об окончании народной школы и снова отступил к двери.

— Ты хочешь поступить к нам посыльным? — спросил мужчина.

— Да, господин директор.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, господин директор.

— Это твоя первая работа?

— Нет, господин директор. Я два года работал в мастерских.

Мужчина мерил взглядом мальчика, который смотрел ему прямо в глаза и почтительно кланялся при каждом ответе.

- Ты живешь дома?
- Да, господин директор.
- И твои родители живы?
- Да, господин...
- Чем занимается твой отец?
- Отец в Канаде, а мать работает гладильщицей.
- В Канаде? Вы получаете от него много посылок?
- Довольно много... довольно много...

Мужчина встал, поглядел в окно на улицу и медленно проговорил:

— Кажется, мы сможем взять тебя. Приступишь к работе завтра. Насчет оклада я посоветуюсь с бухгалтером.

На миг он замолчал, обдумывая что-то и энергично посасывая трубочку, потом взял со стола маленькую картонную табличку и неожиданно сказал:

— Не вздумай другой раз делать такие фокусы. На обмане, вообще говоря, далеко не уедешь.

Он протянул табличку мальчику, и у того сразу задрожали ресницы, а взгляд сделался робким, блуждающим. Тогда директор распахнул дверь кабинета и крикнул:

— Молодые люди! Место занято!



## Ханнес Райта становится старым

Восемнадцать лет Ханнес Райта проработал у одного хозяина. Он и сейчас еще хорошо помнит, как обрадовался, получив это место. В газетном объявлении тогда особо подчеркивалось, что работа «постоянная и на длительный срок». Желających было много, но счастье улыбнулось Ханнесу. С тех пор он считал свою жизнь обеспеченной. Ведь на этом месте всегда нужен был человек, а Ханнес выполнял свои обязанности добросовестно, — о них ему не требовалось напоминать. Правда, заработок был не блестящий, но регулярный, так что Ханнес был уверен в завтрашнем дне. Как-никак, а постоянный доход всегда можно согласовать с расходами — не то что при случайных заработках.

Проработав несколько лет, Ханнес Райта стал подумывать, что это, пожалуй, его последнее место. Слово «последнее» он не связывал с мыслями о быстротечности времени или о том, что лучшие годы уже позади и он медленно, но верно приближается к старости. Просто ему не хотелось больше менять работу. Конечно, и возраст поневоле приходилось учитывать. Годы идут, но он по-прежнему безукоризненно выполняет свою тяжелую работу, и хозяин определенно обеспечит его старость. Когда тело Ханнеса станет дряхлым и силы иссякнут, хозяин, вероятно, подыщет ему какое-нибудь более легкое занятие. Собственно, Ханнес Райта несколько не сомневался в этом. Ведь владелец лесопилки — добрый и отзывчивый человек, он хорошо понимает нужды и заботы рабочего. Возможно, он даже небольшую пенсию ему назначит, думал Ханнес Райта, или, точнее, надеялся; он не считал, что имеет право ее требовать. Нет, он думал о пенсии как о большой

милости, которая может выпасть на его долю за усердный труд.

Ханнес Райта принадлежал к рабочим старого поколения, он испытывал гордость, когда начальство называло его «преданным и порядочным». Он не одобрял «всяких там новых течений и профсоюзной болтовни», как он выражался. Райта принимал без благодарности, как само собой разумеющееся, сокращение рабочего дня, повышение заработной платы, защитные приспособления на станках и другие улучшения, которые остальные рабочие завоевали общей борьбой для себя и которыми мог пользоваться и он. Да, пожалуй, не все из этих «новшеств» он, собственно, ценил. Например, сокращение рабочего дня. «Даже если бы я работал по десять или двенадцать часов в день, — рассуждал он, — все равно у меня оставалось бы время, чтобы посидеть дома с трубкой и выспаться».

У Ханнеса не было желания ни читать книги, ни посещать собрания или праздники рабочих организаций. В свободные минуты он либо что-нибудь по дому делал, либо беседовал со стариками соседями о погоде или вновь пересказывал давнишние истории. Воскресенье он иной раз проводил на реке, ловил рыбу на блесну — «для ухи», да и этим особенно не увлекался.

Единственным содержанием жизни Ханнеса Райта была работа. Она обессилила его мышцы, согнула спину и заполнила все помыслы настолько, что он не мог уже говорить ни о чем, не связанном с работой. Да, воспоминания, воспоминания... Ведь было время в молодости, когда необходимость трудиться казалась ему досадным злом. Веселую, праздничную сторону жизни составляли танцы, шумные компании, ночные прогулки и деревенские драки. Всплывавшие в памяти картины прошлого скрашивали его трудовые будни; Ханнес Райта охотно предавался теперь воспоминаниям.

Жизнь его текла спокойно, ровно, без сомнений. Была уверенность, что на завтра ему обеспечен кусок хлеба. И что следующий день ничем не будет отличаться от многих предыдущих дней. По крайней мере так думали и старый Ханнес и его жена. Когда-то в молодые годы они мечтали обзавестись собственностью — красивым домом. Но смогли построить лишь низенькую

избушку. Да и за нее они все еще были должны около двух тысяч марок. Мечта давно была забыта, появились дети, и семье часто приходилось туго. Конечно, теперь уже, как говорится, дети стояли на ногах, но никто из них не был в состоянии помогать старикам. У детей хватало забот о своих семьях. Да Ханнес и не обращался к ним за помощью, хотя у него с женой дела нисколько не улучшились по сравнению с тем временем, когда дети поглощали весь заработок. Владелец лесопилки стал платить ему значительно меньше — ведь Ханнес не мог выполнять ту же работу, что и молодые. Ханнес спокойно воспринял это решение. Оно, по его мнению, было естественным и справедливым.

Иногда по воскресеньям Ханнес с женой беседовали о детях, которые теперь лишь изредка посещали родную избушку. Оба удивлялись, насколько современная молодежь отличается от молодых людей их поколения. У нее появилось много всяких желаний и требований, которые Ханнес считал никчемными. Обо всем у их детей было свое мнение. Особенно у старшего из сыновей, Вейкко. Тот усердно посещает собрания каких-то рабочих организаций и часто говорит о правах рабочих в обществе. Во время его последнего посещения Ханнес чуть не дошел до открытого спора с ним.

Отец с сыном говорили о том, что Ханнес стареет, силы его идут на убыль. И тут Ханнес, как это бывало много раз и прежде, поделился с сыном своими мыслями. На что Вейкко сказал:

— Конечно, ваше дело — надеяться на пенсию. Но старых рабочих принято выбрасывать на улицу. Так поступят и с вами. В этом можете не сомневаться...

Это были грубые, резкие слова. Ханнес привык к откровенности: рабочие — люди прямолинейные. Но слышать такие жестокие слова от собственного сына было очень тяжело. Ханнес горячо возражал ему и хвалил доброту владельца лесопилки. Тот никогда не поступит плохо с таким порядочным и преданным рабочим, как Ханнес, который восемнадцать лет честно прослужил ему. Если хозяин не будет платить ему пенсию, то он непременно даст работу полегче, чтобы Ханнес не испытывал нужды в старости. Правда, хозяин поступил иначе с некоторыми рабочими. Так ведь те не были такими «порядочными», как он. Кому охота тра-

тить свои деньги на никудышных людей, да еще стараться обеспечить их старость?

Сын упорно стоял на своем. Он сказал, что уволенные рабочие были такими же порядочными людьми, как и отец. Это задело чувство достоинства Ханнеса, и он подробнейшим образом перечислял все недостатки тех людей. Один был ленивым, другой нерасторопным, третий работал хорошо только, что называется, из-под палки. Обязан ли предприниматель заботиться о таких рабочих, когда они теряют трудоспособность? Вовсе нет, пусть они и протрудились всю свою жизнь. Они ведь не работали так, чтобы их ни в чем нельзя было упрекнуть. Ханнес считал, что он и сам не имеет права чего-либо требовать от хозяина, ведь за свою работу он получал деньги. Но он верил, что владелец лесопилыни в награду за преданность поступит с ним справедливо.

И все же разговор этот встревожил Ханнеса. А что если будет так, как сказал сын? Что тогда? Ведь ему уже перевалило за шестой десяток, и он понимал, что колы придется оставить это место, то найти работу еще где-либо будет невозможно. Сбережений у Ханнеса не было никаких. Его заработка с трудом хватало на еду и одежду. Следовало бы, конечно, отложить кое-что на старость. Но как? Когда дети были маленькие; все на них уходило, а стали взрослыми — его заработок сократился. Пожалуй, можно было бы отказаться от кофе и табака... Но нет! Должна же быть у человека хоть какая-то радость?

Обычно Ханнес в конце концов уставал от таких мыслей. Что за чушь, право, лезет ему в голову! Хозяин добрый и простой человек, он не оставит его в беде.

Прошло три года. Ханнес почти перестал думать об этом — никакого намека на увольнение не было.

Однажды, когда сын зашел навестить родителей, Ханнес сказал:

— Ну, видишь? Твои предсказания не сбываются.

— Еще не пришло время, — ответил сын.

Больше они к этому разговору не возвращались. У Ханнеса не было настроения спорить.

В эту зиму стояли сильные морозы, часто бушевали метели. Ханнеса порой одолевали сильные приступы ревматизма, и он вынужден был по несколько дней

оставаться дома. В субботу, после одного из приступов, его вызвали в контору лесопильни.

За столом сидел сам хозяин. Он выглядел холодным и официальным, совсем иным, чем обычно.

— Те-те-те. К сожалению, я должен объявить, Райта, что у нас больше нет для вас работы, — сказал он без всяких околичностей.

Ханнеса словно молнией поразило. Бесстрастный голос хозяина, казалось, доносился откуда-то издалека.

— Сейчас заказов у нас мало, к тому же молодые могут работать гораздо лучше вас. Вы становитесь слишком старым. Но, вероятно, у вас есть кое-какие сбережения, и вы не окажетесь в нужде. У вас ведь был постоянный заработок, и сравнительно неплохой.

Ханнес Райта почувствовал, как у него к горлу подступает горький комок.

— Нет... у меня ничего нет... — ответил он, запинаясь.

— Ах, вот как? — равнодушно сказал владелец лесопильни. — Вам следовало бы заранее подумать о старости и немного сберечь.

Он взял со стола знакомый серый конверт с зарплатой. Сколько раз Ханнесу вручали такой конверт здесь, в конторе. Но этот был последний. Последний! И в нем единственная опора его старости, его... пенсия? Неужели двадцать один год преданной, безупречной работы ничего не значит? Это что ж? Пособие на дорогу, в дом призрения, как и для многих других, выжатых здесь до конца...

— Не может ли хозяин все же дать мне какую-нибудь более легкую работу? — хрипло спросил Ханнес. — Что теперь со мною будет?

— Те-те. Нам нужно прежде всего заботиться о рентабельности предприятия, — ответил владелец лесопильни. — Времена настали тяжелые.

— Но... но, — бормотал Ханнес. — Ведь я служу на лесопильне... двадцать один год!

Хозяин бросил на него гневный взгляд.

— Разве вы не получали заработную плату за каждый проработанный час?

— Да, конечно... Но...

— Ну, ну, — раздраженно сказал хозяин. — Как вы сами видите, между нами нет никаких недоразумений.

Вы не так долго проработали у меня, чтобы закон обязывал платить вам пенсию.

Некоторое время Ханнес Райта стоял молча, глядя на тонкий серый конверт, который он все еще мял в руках, забыв сунуть в карман. Скрюченные от ревматизма и тяжелой работы пальцы судорожно ощупывали несколько ассигнаций, лежащих в конверте. Вот он, итог тяжелого, изнурительного труда в течение двадцати одного года! И вдруг Ханнес почувствовал безграничную горечь и злобу, которые сжали его сердце так, что оно, казалось, вот-вот разорвется.

— Нет, закон вас не обязывает, — сказал он громко, почти выкрикнул. — Закон вы, конечно, сумеете обойти!..

Нахмуренные брови владельца лесопилы насупились еще больше.

— Если вы намерены дерзить, то вам лучше оставить помещение.

— Да, да, вы гоните нас, — продолжал Ханнес Райта. — Выгоняете на улицу, словно собаку, тут же, как только мы перестаем быть полезными для вас. Какой же я был дурак. Вы сказали, что между нами нет недоразумений. Есть! И они не будут разрешены до тех пор, пока существуют такие люди, как вы.

Хозяин слушал напряженно, явно волнуясь, со злостью. Конечно, не следовало бы выставять таких стариков за дверь. Он действительно двадцать один год проработал на лесопиле... Право же, всегда немного неприятно увольнять рабочих, подобных ему, но... те-те, коммерция есть коммерция.

Вечером, когда ленсман, общинный врач и купец Серениус пришли к владельцу лесопилы, как обычно по субботам, играть в карты, хозяин после нескольких глотков вина сказал с досадой в голосе:

— И впрямь, беспокойно становится на душе, когда видишь, как распространяется коммунистическая зараза. Как раз сегодня один мой старый рабочий, который всегда был исключительно порядочным и кротким, кричал в моей конторе, как заядлый агитатор.

— Да, да... Преданные, порядочные рабочие начинают все больше отходить в прошлое, — промолвил ку-

пец Серениус. — Теперь уже не служат, как раньше, одному хозяину от колыбели до могилы.

— Нет, не служат. Сейчас рабочего увольняют, когда он становится слишком старым, — насмешливо вставил общинный врач. Случай с Ханнесом Райта уже успел дойти до его ушей.

Владелец лесопилы покраснел. Его брови нахмурились. Но ленисман, который уже взялся за колоду карт и начал ее тасовать, засмеялся:

— Не затевайте ваш вечный спор. Чтобы держать коммунистов в узде, у нас есть закон, судьи и адвокаты.

— Вот именно, — обрадованно поддакнул купец Серениус. — Попали в самую точку!

— Аминь, — сказал общинный врач, скептически улыбаясь. А затем добавил: — Что ж, начинает тот, у кого козырь.

## **Не слишком ли это дорого?**

В этом цехе работают почти одни женщины. Они целыми днями сидят за массивными прессами; плеск ремней, жужжание маховиков, стук машин наполняют помещение одурманивающим гулом. Стены и пол беспрестанно содрогаются от ударов тяжелых штампов, которые придают звенящим листам жести желаемую форму. Десятки глаз внимательно следят за движением штампов, быстрые, привычные пальцы подкладывают жести, а ноги механически, через равные промежутки времени нажимают на педаль, — пресс включается, и штампы с силой совершают свой вечный путь вниз и, как только ноги отпустят педаль, — опять вверх.

Здесь трудятся с лихорадочной быстротой. На сдельщине не помедлишь, если хочешь в субботу получить зарплату, которой должно хватить и на еду и на многие другие расходы. Марки подобны весеннему снегу, они тают в кошельке с ужасающей быстротой, так что уже в четверг многие вместо завтрака и обеда ограничиваются чашкой кофе, когда не удастся занять на

непритязательный обед у какой-нибудь подруги, находящейся в несколько лучшем финансовом положении. Особенно трудно приходится в недели, следующие за квартплатой. Их две в каждом месяце. Тут уж девушка вынуждена и от кино отказаться, если только нет знакомого парня, который заплатит за билет. Но и в другие недели, пожалуй, несколько не легче, ведь время от времени надо приобрести и кое-какую одежонку как для работы, так и для воскресных дней. А одежда стоит не дешево.

И все же со всеми этими трудностями можно кое-как справиться, только бы не постигла тебя беда. Однако несчастные случаи здесь не редкое явление. И всему виной спешка. Известно, что на прессы можно было бы поставить защитные приспособления, которые почти полностью исключили бы возможность несчастных случаев, но они несколько замедлили бы темп работы; и как будто обошлись бы слишком дорого, поэтому заводу невыгодно их приобретать. И работницы смирились, хоть и роптали иногда.

А во время обеденных перерывов они частенько между собой поговаривают об этом. Но всегда приходят к одному выводу: им бороться не под силу. Станешь требовать, тут же получишь расчет. Желających занять твое место сколько угодно, а новую работу сейчас не легко найти. Что ж, придется, видимо, продолжать работать с лихорадочной быстротой, ежесекундно рискуя потерять палец. Штамп отрубает его в одно мгновение. И такое случается почти каждую неделю.

Обычно это происходит вечером, когда девушки устают. После напряженной работы в течение долгого дня и сам становишься машиной, механически выполняешь заученные движения в строго определенном темпе, который усвоен каждой клеточкой твоего организма. Если в такой момент что-то вдруг не клеится, например заупрямится жестяной лист, не желая идти под штамп, и, чтобы быстро поправить его, ты сунешь пальцы слишком глубоко в машину, тут-то и может произойти несчастье — потому что твоя нога машинально нажимает на педаль. Твои утомленные от работы глаза и притупившиеся нервы не успевают среагировать вовремя. Раздается лишь скрип и удар — штамп падает, и кровь густым потоком вырывается из



обрубка пальца на блестящую, жирную поверхность жести.

На этой неделе уже произошел один такой случай. Правда, этот случай был не совсем обычным. В цехе в тот день работало несколько молодых парней (они, увы, получали столько же, сколько и женщины). Им тоже хорошо была знакома эта лихорадочная спешка и все ее грустные последствия. У молодого рабочего оказались крепкие нервы. Он не потерял сознания, он даже не вскрикнул. Только усмехнулся, попросил бинт и привязал отрубленную часть пальца на прежнее место. Сейчас его нет в цехе, он лежит в больнице. Девушки часто вспоминают его с восхищением, смешанным со страхом.

Сегодня четверг. Он показался всем особенно тяжелым. Над городом гнетущей и жгучей волной прокатился зной, наполнив цех удушливым паром. Работницы с завистью думают о тех, кто получил отпуск и лежит сейчас, растянувшись, на теплом песчаном пляже на берегу прохладного моря. А люди зажиточные все лето наслаждаются на собственных дачах и курортах. И что им не отдыхать? Рабочему же человеку его короткий отпуск обычно приносит только разочарование: это всего лишь ряд серых, дождливых и ветреных дней, которые к тому же пролетают мимо с такой быстротой, что их и заметить не успеваешь.

Кайса Хейно уже была в отпуске. Она многого ждала от него, но ей также не повезло. Прохладная погода да дожди — часто нельзя было выйти даже на улицу, не говоря уже о поездке за город или на пляж. Почти не отдохнувшая, Кайса снова вернулась на работу, к этой бесконечной веренице трудовых будней. Конечно, если бы у нее были деньги, она поехала бы в деревню и сейчас чувствовала бы себя совсем иначе. Воздух в городе никогда не бывает чистым и свежим, в тесных ущельях улиц плавают частички дыма, копоти и грязи, разносятся запахи заводов и зловонье нечистот. Но из заработка ей никак не удастся что-либо отложить, так что отпуск приходится проводить в городе.

Она вытерла пот со лба. Грудь будто тисками сдавило: в цехе сегодня, как и вчера, ужасающе душно. Ну, ничего, через час рабочий день будет закончен. Она отправится на пляж в Мустиккамаа, и прохладная

вода смывает пот и пыль с ее тела. Она возьмет с собой новый купальный костюм; она купила его на деньги, которые с большим трудом, отказывая себе во многом, копила, готовясь к отпуску.

Предавшись мечтам, она, однако, не перестает работать, ее руки и ноги находятся в непрерывном ритмичном движении. В этом цехе она уже второй год и превратилась в отличный автомат. Она может выполнять свою работу даже с закрытыми глазами. Нет, с ней никогда ничего не случится — она была в этом твердо убеждена. Просто другие чересчур неосторожны...

И в этот миг произошло несчастье. Как и обычно, это длилось какую-то долю секунды; и все оказалось позади, прежде чем Кайса ошутила боль и осознала, что теперь на ее правой руке осталось лишь четыре пальца. Постепенно она пришла в себя, ее глаза, расширившиеся от ужаса, смотрели на обрубок пальца, на торчащую белую кость.

Хлынула темно-красная кровь. Девушка вскрикнула и побледнела. Ее била дрожь, странная слабость разлилась по всему телу, и ноги стали ватными.

Подруги с шумом сбегаются к ней. Случай привычный, но он всегда вызывает в них подавленность и вместе с тем негодование. Кто-то прибегает с бинтом.

Кайса Хейно сидит на скамейке, бледная и дрожащая. Она едва замечает, что одна из девушек торопливо перевязывает ей обрубок пальца. Она не может сейчас даже с места сдвинуться. Один палец, собственно, не так уж много значит, пытается она утешить себя, поэтому и вознаграждение за него дают ничтожно малое.

Не много значит? Да, так говорят. А Эрки только вчера вечером сказал, какие у нее красивые руки... Или это было не вчера? Может быть, с тех пор прошло уже много лет... Нет, никто больше не назовет ее руки красивыми. Обрубленный, вызывающий отвращение палец обезобразит все, всю ее жизнь...

Кайса не падает в обморок, такое не для простой рабочей девушки. Это встречается лишь в изящных романах... романах, где разукрашенные, разодетые в шелка дамы падают в обморок от горько-сладостных разочарований и их приводят в чувство с помощью нюхательной соли. Нет, Кайса даже не плачет. Она, потупившись, сидит на скамейке горькие десять минут, а

затем тяжелым шагом направляется к двери. К врачу. Завтра на ее место возьмут от ворот новую работницу.

Последний час рабочего дня ее машина безмолвствует. Но другие прессы снова начинают свою одурманивающую песню. Сегодня больше не произойдет несчастья, случай с Кайсой отогнал от всех обычное вечернее отупение. Вот раздается звонок, и девушки торопливо бросаются к выходу. По дороге они возбужденно обсуждают случившееся.

— Конечно, следовало бы поставить защитные приспособления на каждый пресс, — говорят они.

Но не будет ли это слишком дорого? Во сколько же это, собственно, обойдется?

## Возвращение человека

Человек возвращался с войны, издалека, из чужих краев и от чужих пейзажей. Он шел, тяжело хромая и опираясь на палку. На вершине одного из холмов он остановился и закурил. Взгляд его скользнул вдаль: какие бескрайние леса! Эх, разве здесь мало места для жизни? А ведь там, на войне, ему пытались внушить, что война будто бы ведется из-за нехватки этих самых «жизненных пространств». Хватит, всем хватит места, здесь его предостаточно!

Человек курил и размышлял.

Где-то там, за этими лесами, за десятком километров, есть ручей и бревна, которые надо сплавлять, — так сказал ему в деревне производитель работ. Уже собралась группа мужиков, скоро они приступят. Итак, работа найдена, значит, можно попытаться начать жизнь сначала. Так-то оно так...

Вдруг он заметил впереди большое болото с подзрительными темными полосами на поверхности. Этого-то он и боялся: путь ему преграждал паводок. Успеет ли он дойти вовремя? Еще утром, когда под ногами стал сдавать наст, в нем зародилось сомнение. А теперь он еще больше укрепился в своих опасениях. Скоро ночь, а до избы сплавщиков десятков километров и на пути — бурлящий ручей и открытое болото. Человек усмехнулся, заметив, что выругался вслух. Хотя вообще-то что ж тут особенного — старая привычка! К тому же поблизости не было слушателей, а просторов здесь хватит для того, чтоб снова, как в давние времена, пустить ветру вдогонку крепкое слово.

Человек глубоко вздохнул. С каждым вдохом и каждым шагом он, казалось, впитывал в себя новые жизненные силы.

И когда он спускался с холма, ему снова вспомнились слова госпитального врача — приятный старичок был доктор, так запросто беседовал с ним.

— Ну, стало быть, капрал Карппинен тоже покидает нас. Куда путь держите?

— Откуда ж путнику знать, куда его дорога приведет, — ответил он, Карппинен. — Может, где-нибудь сплав найдется...

И он многозначительно кивнул в сторону двора — уже капало с крыш и слышно было, как журчат ручьи.

— Разве доктор не видит, придется поторапливаться...

— Да, да, ведь вы были лесорубом и сплавщиком. Конечно, следует идти туда, куда душу влечет. Но прогул-то у вас, кажется, немалый получился — и фронт, и госпиталь...

— Да, немало побездельничал, четыре года.

Целые сутки он ехал поездом, день тряся в кузове грузовика, а потом пешком всю ночь шел к барaku лесорубов в Навевааре, отдохнул там денек — и снова в путь по затвердевшему, ночью насту. Надо поторопиться — он-то знает, какие бурные в этих краях вешние воды.

Он старался прибавить шаг — под холмом, по краям болота, снег был еще твердым. На спине болтался рюкзак, из которого торчал рабочий инструмент: топор, скобель, разобранная лучковая пила. Он взял их в Навевааре. Странно пустынным и заброшенным выглядел прикорнувший в Навевааре барак, тот самый, который еще несколько лет назад казался лесорубам чуть ли не центром вселенной. И какое печальное зрелище представлял он в блеклом свете этой весенней ночи! Человеку даже жутко стало, и он долго бродил вокруг барака, прежде чем решился войти внутрь. Однако барак был не совсем пуст: в момент, когда человек вошел, комнату с писком пересекало мышиное семейство. На полу — солома, выброшенные папиросные коробки и прочий мусор, на столе — кружка, заржавевшая консервная банка и потемневшее от времени нижнее белье... А не тому ли, кого они прозвали «Пономарь», принадлежало это белье? Пономарь бросил его здесь, когда передевался, «приобщаясь к цивилизации», как он сам

тогда выразился, чтоб участвовать «в великих военных походах и приключениях».

И человек бродил в сумерках и глядел на эти знакомые мелочи с щемящим чувством. Из-под тупоносых нар он вытащил оставленный там перед отправкой на фронт сверток — свой рабочий инструмент, завернутый в синюю блузу сплавщика. Осторожно раскрыл сверток, пахнувший плесенью, и выругался в сердцах, увидев, что сталь разъедала ржавчина. Чиркнув спичкой, он разглядел под нарами еще много других свертков и узлов.

Затем он закурил да так и просидел на нарах всю долгую ночь. И чудилось ему, будто он только вчера покинул эти места.

Они сидели тогда за столом и играли в карты, а Пономарь перебирал клавиши аккордеона. Был поздний вечер, они только что вернулись в барак из мира бревен. Шелестели ассигнации, звенела медь. Но едва они услышали ту новость, как игра была забыта. В большом мире произошло невероятное: человечество вдруг почему-то рассердилось и вздумало драться! И еще более невероятное должно было произойти: их, мирных тружеников, пошлют на войну! Им предстоит что-то необычное, приключения... Вначале это показалось даже заманчивым: где-то там, далеко, их ждало что-то новое, неизведанное... И они побрились самым тщательным образом. (О, да никак один болван порезал себе щеку? Кровь. Уже!) Потом завернули в блузы топоры и прочий инструмент, написали на свертках свои имена и с торжественными церемониями погребли «покойников» под нары. Каалеппи произнес речь, Пономарь пробасил мессу. А они стояли посреди комнаты с шапками в руках и с серьезными лицами слушали, как Пономарь изрекает «господи, помилуй» и поет красивую мессу сплавщиков. Затем последовало резкое: «Смирно!»

Грудь распирало от гордости — в них нуждалось отечество!

И они направились в путь: Каалеппи, Калле-Хрипун и Кервинен, Кайкконен-Драчун, Хилу, Отто-Красавчик и другие. Они шли по сумрачной тропе в сумрачной ночи, направляясь туда, где их ждали обещанные им приключения...

Но когда они наступили, эти «приключения», то увлекательного в них не оказалось и в помине. В пер-

вом же бою пал Каалеппи, расстался с удалой своей жизнью. В небесной выси искрилось северное сияние, мигали звезды. И все снова и снова оказывались они перед лицом смерти. Вот над их головами провыл снаряд, неся смерть; где-то в темноте торопливо стучалась другая смерть — бесконечно длинная пулеметная очередь. Она просвистела над болотом, словно небесный хлыст. Она косила...

Вскоре в этих чужих краях отхрипел и Хрипун, неожиданно быстро не стало также Кервинена и весельчака Пономаря. Беспреданно слышались вой и стук — то стучалась к ним смерть... В Навевааре было куда спокойней!

Они продвигались вперед и отступали, гигантской змеей извивались взад-вперед и влево-вправо, брели по болотам и карабкались по холмам. Они двигали перед собою границу, а та растягивалась, точно резиновая. И снова, и снова стояли они с обнаженными головами под звездами и северным сиянием, воздавая последние почести покойнику, герою войны, своему товарищу. А чувствуя героя войны, они чествовали тем самым и самую войну, которую даже не понимали. Им становилось страшно: зачем все это? Зачем изрывали снарядами землю, кромсали деревья, переворачивали все вверх дном? Зачем уничтожали дорогую человеческую жизнь? Зачем погибали все эти веселые парни? Где же граница их родной Суоми? Неужели она будет растягиваться перед ними до бесконечности?..

А теперь он снова был здесь, он, Нестори Карппинен, капрал, в прошлом лесоруб. Он снова был здесь... Как и все его товарищи лесорубы, он побывал на войне. Там его учили сражаться и убивать, ибо, как ему говорили, от войны зависят и его собственная судьба, и судьба его дома и его народа. Что ж, они воевали... В первый раз он разрядил ружье в катящуюся на них лавину противника, закрыв глаза и стиснув зубы: было страшно убивать живого человека, из живой плоти и горячей крови, с душой, такой же, как и у тебя. А во втором сражении он уже не закрывал глаз: понял, что это опасно... Он приучил себя к этой новой «работе», он сполна познал будни войны. Изю дня в день им внушали, будто современное поколение имеет только одну задачу, одну цель: сражаться, убивать, чтобы самому

остаться в живых. Шла борьба за «жизненные пространства», убеждали их. Земной шар, видите ли, оказался вдруг перенаселен, необходимо было произвести прореживание... Иногда, нища укрытие от смертоносного ливня в вырытой гранатой ямке, он внезапно раздражался диким хохотом, смеялся до слез, долгим истерическим смехом умалишенного: им мало пространства? Уж там-то, в его родных краях, хватало места, хватало просторов! Можешь пробродить целый день, пока встретишь хоть одно живое существо, если вообще встретишь. Мало пространства!..

Но все же он продолжал воевать. Шли годы. На его погонах появились белые капральские нашивки, и даже медаль прикрепили ему на грудь за то, что с этой новой «работой» он справлялся хорошо. А потом однажды оказалось, что они отвоевались.

Да, им сказали, что война окончилась и что он тоже свое отвоевал и может вернуться, откуда пришел. На миг он застыл в недоумении. Получив документы в госпитале, куда он попал раненый в конце войны, он замер на месте и долго вертел в руках свои бумаги. Итак, теперь он был сам себе, хозяин, мог лететь куда вздумается. Отечество больше не нуждалось в нем. Война окончилась, в стране снова царил мир, а среди людей — согласие и добрая воля...

Правда, он слышал, что войну они проиграли. Но ему не под силу было понять, что же они потеряли — и за что в конечном счете они сражались?.. Была ли то борьба за свободу отечества? Но отечество продолжало существовать — эти деревни, эти города и сельские общины были по-прежнему свободны. Так же разгуливали на просторах вольные ветры, так же свободны были люди и дороги, и он тоже волен был выбирать любые тропы. Что же изменилось? И вот, когда он двинулся в путь от госпитальных ворот, он понял, что многое теперь стало иным, чем прежде. Он увидел в городе разрушенные кварталы — значит, и здесь побывала война. Он увидел какую-то скованность во встречах, он увидел сотни матерей и детей, на лицах которых застыло одинаковое выражение безнадежности. Нужда и бедность, страх и скорбь выглядывали отовсюду. И только тут он начал сознавать: вот какова война...



Но что же дальше, маленький человек \*, Нестори Карппинен, бывший капрал и в прошлом лесоруб?

Для начала он осушил бутылку: древесной в станционном туалете и потом, когда на душе стало легче, влез в поезд, загромыхавший по рельсам. И исподволь, так же как начинает брезжить рассвет, в его сознании стали проявляться картины прошлого, эпизоды из жизни там, под защитой лесов, там, где жизненного пространства наверняка хватало всем... Он вспомнил: ведь оттуда они и отправились, вступили на путь «великих походов» и «приключений», где беспрестанно слышались вой и стук — то стучалась к ним смерть... Поезд грохотал и весело посвистывал, унося его к лесной глуши, туда, где леса бескрайние, где много простора для жизни. И он снова обретет себе место в жизни. Да, теперь можно жить, ведь в стране царит мир, а среди людей — согласие и добрая воля!

«Век-кере-век, век-век-век, ко-пук-ку!» — раздалось вдруг возле самой тропы недовольная воркотня белой куропатки, и от неожиданности Карппинен даже вздрогнул. Тыфу ты, черт побери, словно из автомата очередь выпустили!

Он остановился и закурил и, чиркая спичкой, заметил, что руки его от испуга дрожат и сердце колотится. Неужели человеку, прошедшему войну, суждено так пугаться всего? Неужели его нервы так поистрепались?.. Может быть, разумнее вернуться в обжитые места? Что же будет с ним там, в глуши лесов, где подает голос всякая божья тварь — свистит сойка, мяукает лиса, стучит черный дятел и кричит в ночи филин. Ведь там ему придется вздрагивать и пугаться то и дело...

Но вот уже и мосточки из жердей, которые перенесут его за бурлящий ручей, за болотный глазок. Мосточки еще не покрыты водой. Стало быть, можно пока не спешить...

Он снял со спины рюкзак и растянулся на вересковой проталине. Как же он устал! Закинув руки за голову, он смотрел на облака, которые бесконечной

---

\* Намек на роман Ганса Фаллады «Маленький человек, что же дальше?»

вереницей плыли по небесному морю, а затем снова углубился в свои думы, — он, капрал Карппинен, человек, возвращающийся с войны, издалека, из чужих краев и от чужих пейзажей.

## Поездка в церковь

Отправились как-то жители холма Пийппонен в церковь: муж да жена, Ийвари и Тийна, оба тоже Пийппонены.

Ийвари — чуть опередив жену, в синем суконном костюме и смазанных дегтем воскресных сапогах. За плечами весело подпрыгивает берестяной кошель. А на серьезном лице Ийвари отражается торжественная праздничность этого особого дня.

Тийна — чуть отстав от мужа, в черной юбке и ситцевой, в темную полоску кофте, на голове черная шаль, спускающаяся ко лбу острым мысиком, на ногах легкие берестяные туфли.

Это было воскресное утро после Иванова дня, стрелка часов едва приблизилась к пяти. Если ты и вправду задумал попасть к началу церковной службы, как оно и подобает, то придется тебе чуть свет отправиться в путь-дорогу из лесного уголка. Еще не было трех, а Тийна уже сновала по избе, скрипела дверьми и в сумраке рассветающего утра справляла хозяйские дела. В половине четвертого сонная скотина побрела через двор в загон, а в четыре часа на столе в избе зазвенели кофейные чашки. Берестяной кошель, наполненный с вечера едою, ждал в прихожей. Около пяти входная дверь скрипнула в последний раз, и перед ней появилась метла на мощном древке — в качестве запора и в знак отсутствия хозяев.

Неугомонное летнее солнышко как раз замелькало над верхушками деревьев.

Надо было поторапливаться: отсюда, с холма Пийппонен, до места, где стояли церковь, колокольня и кресты над могилами усопших, около двадцати километров. Путь неблизкий, и дорога неровная: то глухие

леса, то горбатые перелески вдоль ручьев, то обширные болота, на которых много глазков с ледяной водой, через них переброшены жерди; затем бескрайняя гладь озера — не меньше часа сильной гребли. И, наконец, самый большой отрезок пути за озерным простором... Да, надо было поторапливаться.

Дорога была хорошо им знакома. А что там, позади? Как будто бы все в порядке: скотина в загоне, окруженном забором, на двери — запор, комод на замке и ключ завязан в уголок носового платка. Огня нигде не осталось, — вроде бы не должно остаться... Соседка заглядывает днем накормить поросенка.

Да, Ийвари хорошо знал этот путь, эту коричневую и мягкую, покрытую половиком из еловых игл тропу в лесных тоннелях. Здесь не слышно звука шагов, человек скользит по мягкой тропе, словно тень. И только доносится кукованье кукушки — а откуда, не угадаешь, ее голос звенит вокруг... Утренний туман окутывает землю, словно серая, непроницаемая ткань; однако стоит подойти ближе, как туман, будто дразня, отступает назад, осторожно подбирая подолы. А там, где кончаются лес и половик из еловых игл и путника приветствуют болотные жердочки, — там туман наконец сдастся. Ты видишь, как земля сбрасывает с себя туманные одежды летней ночи; они скатываются в клубок и, подхваченные ветром, уносятся ввысь. А в просветах уже мелькает хлопотливое солнце; сквозь мгlistую бескрайнюю завесу оно кажется огромным берестяным костром смолокура.

И вот уже глаз отыскивает на болоте одинокую чахлую сосенку, кое-где различает сухую почву. А там, где мосточки-жерди скрываются под сенью лесистого островка и где ворчливо что-то бормочет черная вода ручейка, — там видно, как падают с деревьев росинки и сверкают, подобно алмазу, когда солнце настигает их. Над тропинкою вырисовывается узорчатое творение паука... Здесь, именно здесь просыпаются в тебе добрые чувства. Здесь ты ощущаешь утренний аромат болотистой почвы, здесь тебя радостно приветствует первый дрозд — он торжественно сидит на самой верхушке сухой сосны, залитый багряным светом поднимающегося солнца...

— Почему ты не заткнул дыру в заборе?

Голос, хриплый и надтреснутый, вылетевший из черного, беззубого человеческого рта, вдруг безжалостно прорезал утреннюю благодать, полоснул душу Ийвари словно ножом. И мгновенно иллюзия распалась. Это был голос Тийны. Собственно, она не умолкала с той самой минуты, когда перед входной дверью появилась метла на мощном древке в качестве запора и в знак отсутствия хозяев. Тийна все выговаривала Пийппонену за то, что он вчера не починил забор в загоне, хотя время для этого нашлось бы, а теперь скотина может разбежаться... Пийппонен решил про себя, что говорящий да пусть говорит, и прибавил шаг — он желал появиться в церкви вовремя и в приподнятом настроении... Берестяной кошель весело прыгал от плеча к плечу, синие суконные штаны болтались на нем слева направо, слева направо. А звук его шагов тотчас поглощал игольчатый половинок тропы.

Пийппонен спустился с опушки в ложбинку возле ручья. Там еще плавали обрывки кружевных покровов властительницы туманов. А когда он снова поднялся на лесную тропу, его встретил пением дрозд, словно предупреждая:

«Не оставляй жену, Пийппонен, Пийп-по-нен!»

Но рассерженный Пийппонен не обращал внимания на предупреждения, он только еще больше ускорил шаг. Впереди снова показались скользкие жерди, а по обе стороны от них тянулись кверху мокрые стебли болотного вереска — да, тут и ноги промочить недолго.

«За-ку-ри труб-ку, Пийп-по-нен!»

Пийппонен, не сбавляя шага, попытался разглядеть верхушку сосны. Чего там эта чирикалка пустозвонит? «Закури!» Чирикала бы лучше той, что плетется позади... Но все же он нащупал в кармане трубку, набил ее и задымил, не останавливаясь. Потом снова опустил плечи и прибавил шаг.

Солнце поднималось все выше, сверкали росинки, поминутно подавала голос кукушка, беспрестанно чирикали дрозды.

— О дыре в заборе я тебе говорила уже сто раз... нарочно ничего не делает, чтоб скотина разбежалась... а тоже, в церковь норовит... дымит своей трубкой, как дьявол...

Наконец впереди открылась широкая озерная гладь.

Вот оно, спасение! Спасение? О нет, он-то знает свою жену: об этой дыре в заборе ему доведется услышать еще и в лодке, и в церкви — даже в момент получения святого причастия... «Не заткнул дыру в заборе... скотина разбежится... дьявол с трубкой...»

Пийппонен мрачно выплеснул со дна лодки воду и забил веслом уключину. Лодка скрипнула по береговому песку и скользнула в озерную тишь. Жена подоткнула подол и взялась за весла, а муж сел править.

Пийппонен обвел взглядом пустынную поверхность озера — да, туман еще довольно густой, берегов не различить. Озеро было безмолвным, но оно жило, заметно было, как по нему пробегала рябь; Пийппонен подумал, что озеро походит на душу человека — ведь малейшая мысль тоже приводит ее в движение... Туман, кругом один туман. И только откуда-то издалека доносился жалобный крик гагары...

Да, все-таки он, Пийппонен, был, видимо, натурой поэтической. Вот и сейчас он невольно вспомнил, как прежде рыбачил здесь. Это было много-много лет назад, тогда вот тут, в его лодке, за веслами сидела одна молодлица, веселая, златокудрая. Они гребли туда, на тот островок, чтобы полакомиться ягодами и полежать в траве и лежа послушать, как кричит гагара...

Ийвари вздрогнул: и это он теперь сидит тут, в лодке, а напротив него — та златокудрая? Нет! Не может быть! Это же злая старуха, вечно ворчит из-за каких-то дыр в заборе, мучит его даже на пути в церковь, ведьма!

«Не заткнул дыру в заборе... дьявол с трубкой...»

Возле осоки трепыхнулся окунь, и круги, раскатившиеся по обгащенной солнцем глади, усилили дурное настроение Пийппонена. Замкнутые круги. Лицо его напряглось, он сжал кормовое весло так, что побелели суставы. Ага, вот и она, одинокая каменная плита, толщиной в сажень, посреди водной пустыни, в полукилометре от берега... И что направило его лодку именно сюда? Видно, сама судьба, которая не допустит, чтоб издевались над человеком, идущим к причастию. Одинокая плита посреди водной глади, излюбленное место рыболовов, сторожевой пост чаек — вот оно, спасение!

Тийна ничего не заподозрила даже в тот момент, когда нос лодки стукнулся о плиту.

— На камень!

Она уставилась на мужа расширившимися от страха глазами. Разъяренный Пийппонен стоял, подняв кормовое весло, и лицо его было настолько страшным, до неузнаваемости искаженным, что жене не оставалось ничего иного, как забраться на камень, хотя она совсем не понимала происходящего.

Лодка тотчас оторвалась от камня. Ийвари Пийппонен тихонько греб в гущу тумана, бормоча себе под нос: «Пускай теперь посидит там да успокоится, ворчунья, ведьма... «Заткни дыру!»... На обратном пути, вечером, заеду за ней, ежели...»

Туман все просеивался сквозь сито небес. Откуда-то издалека доносился жалобный крик гагары.

## Спелые плоды

— Кажется, сбываются мои самые дурные предчувствия, — сказал подрядчик Калске, положив телефонную трубку и возвращаясь к столу.

Его жена, молодая, необычайно красивая женщина, кормила двухгодовалого мальчика. Она взглянула на перекошенное лицо мужа и спросила с напускным спокойствием:

— Что случилось?

— Он не хочет продлить кредит... я понял это, хоть он и пытался вилать... Целую неделю он уклоняется от встречи... Фаллен... этот паук... Для чего ты спрашиваешь, если сама знаешь?

Жена удержала фразу, готовую сорваться с языка. Муж раздраженно продолжал:

— Я знаю, ты сейчас заведешь свою старую песню: «Я тебя предупреждала, не доверяйся ему!» Не доверяйся! Хорошенькое дело! Я вынужден был обратиться к нему. Мне неоткуда больше получить кредит, ты это сама знаешь. Я бегая и упрашиваю всех — никто не хочет помочь, и я не знаю, устоит ли вообще кто-нибудь, кроме этого грабителя. Остальные сами на грани гибели...

— Да, — спокойно сказала жена. В этой семье всегда получалось так: когда один вскипал, другой тут же успокаивался.

— «Да-да»... Это значит, что мне вообще не следовало начинать все это дело? Другие жены подбадривают своих мужей, поддерживают в трудные минуты, а ты... По-твоему, мне нужно было всю жизнь служить другим за нищенскую плату, обогащать других, а самому оставаться с носом? Но я живу только раз. Я тоже хочу разбогатеть...

— Разбогатеть?

Жена многозначительно подняла красивые брови.

— Разбогатеть, да-да, именно разбогатеть! — в бешенстве закричал муж.

— Успокойся! Рабочие услышат, они же ходят по лестнице.

Семья жила в незаконченном многоэтажном доме, который строил муж. Готово было всего несколько квартир, и в них уже поселились жильцы. Постройка дома приносила подрядчику пока что одни денежные затруднения. Он годами мечтал построить собственный дом. Чтобы сделать кое-какие сбережения, он оставался холостяком почти до сорока лет. И жену себе он выбрал не без средств. Это было его первое предприятие. В стране свирепствовал кризис. Строительство подешевело, и это подтолкнуло его: попытайся... Однако трудно было получить кредит. Многие мелкие предприниматели, подобные ему, уже объявили себя банкротами. Но он все же начал не совсем на пустом месте...

— Пусть слышат! Что мне до них? Они для меня ничто!

— Не следует, все-таки, во всеуслышание кричать о том, что хочешь разбогатеть, ведь ты всякий раз с таким трудом выплачиваешь им жалованье! И вообще отвратительно, что мы переселились сюда. Я как по горячим углям хожу каждую пятницу... Не было еще случая, чтобы утром в день выдачи зарплаты ты знал, будут ли у тебя деньги...

— Но каждый раз как-то устраивалось... А теперь этот мерзавец стал влиять... Я же вижу: он понял, что сейчас самое время меня слопать.

— Что он тебе может сделать? Если не получишь кредита, объявишь себя банкротом. Правда, ты потеряешь весь свой капитал, но разве это так уж страшно?

— Не страшно! Пропадут многолетние сбережения, да и твои деньги тоже! Это так страшно, что я тогда убью и себя, и тебя, и мальчика — пусть ни следа от нас не останется! Я не из тех, которые, потерпев поражение, живут, как будто ничего не случилось. А этот грабитель Фаллен хочет получить все по бросовой цене. Вот к чему он стремится! Я это все время предчувствовал.



Жена вытерла сыну рот и нежно привлекла к себе ребенка, напуганного яростью отца. Отцовские вспышки всегда очень тяжело действовали на мальчика. Но жена к ним привыкла. Она и теперь осторожно спустила ребенка с колен и стала прибирать посуду на столе. Муж вышел в переднюю. Из дверей он сказал, стараясь говорить обычным тоном:

— Фаллен обещал приехать и посмотреть дом... дескать, как выглядит, можно ли, мол, еще ссудить... Ну что ж... Я покажу... Он приедет во второй половине дня. Может быть, приготовишь кофе? Я ему про это не говорил, но когда мы пойдем мимо нашей квартиры, я приглашу... Если бы ты достала коньяку лучшей марки... Он пьет только коньяк, этот мошенник, другого спиртного в рот не берет... А главное, будь полюбезней с ним... Ты сама прекрасно знаешь, как ты привлекательна, когда в хорошем настроении. Он слаб на прекрасный пол... Если ты будешь хорошо вести себя, можно и без коньяку обойтись...

— Нет уж, пусть лучше коньяк, — отозвалась жена.

— Гордячка... — проворчал муж, уходя.

У него не было желания встречаться с рабочими, и он, крадучись, выскользнул на улицу. Был дождливый, понурый осенний день. Заранее уверенный в неудаче, он все-таки отправился повидать кое-кого из своих знакомых подрядчиков, которые решились на то же предприятие, что и он, располагая столь же мизерным исходным капиталом. У каждого были свои трудности, и никто не мог оказать ему помощи. От них он узнал, что Фаллен, который в последнее время был его кредитором, ободрял и других, обещая «помочь предприимчивым людям», но все относились к нему с подозрением. Он был слишком богат, чтобы можно было довериться ему.

— Видишь ли, ты, конечно, можешь обратиться к нему, если нет другого выхода, — ведь он дерет безбожные проценты, — но никогда не ставь на одну карту, — предупредил его умный и осторожный друг.

Право, не стоило выходить из дому ради такого совета. То же самое ему могла и жена сказать. Дурак он был, честное слово, когда думал, что справится со своей затеей. Он, видите ли, решил, что сумеет невозможное сделать возможным. Хотел показать, что и он на

что-то способен. И кому? Жене, которая всегда презирала его... Не попрощавшись, он ушел от своего приятеля. Конеч. Счета, счета, счета... Даже материалы больше не на что покупать. И сегодня, именно сегодня последний срок крупному векселю... В эту сделку он втянул брата жены, у которого был дом в пригороде. Так ему посоветовал Фаллен, который жаловался на недостаток наличных денег, но обещал помочь, если вексель предъявят к оплате... Чего стоят обещания? Только пустые слова о «светлых надеждах»... А дом-то почти уже готов...

Подрядчик Калске сел в трамвай, который довез его до жилища шурина. Он как раз подходил к калитке чистенького пригородного домика, когда велосипед шурина вынырнул из тумана. Шурин работал неподалеку на машиностроительном заводе и обедать всегда ездил домой. Мадам Калске и ее брат некогда получили наследство; она вложила свою долю в предприятие мужа, а брат купил себе дом.

— По твоей физиономии уже издали видно, что сегодня последний день векселю, — сказал шурин, соскакивая с велосипеда.

У него было красивое надменное лицо, как и у сестры. Сейчас он был зол.

— Чего тебе еще нужно?

— Твое имя...

— Опять? Для нового векселя?

— Я попытаюсь отсрочить тот... Видишь ли, я рассчитывал получить деньги у Фаллена, но он не дает... все еще держит меня в сомнении... У меня нет уверенности... Вексель могут опротестовать...

— И пусть, а имени своего я не дам. Ты просил только на три месяца. Этот срок истек.

— Не сходи с ума! Если вексель опротестуют, моему кредиту сразу конец... И твоему имени это тоже повредит...

— Пусть. Я в кредите не нуждаюсь. Но имени моего не проси.

— Как ты не понимаешь! Ведь это означает конец всего моего дела! А деньги могут ведь и с тебя взять...

— Что?! Ты еще и крышу над головой у меня отнять хочешь? Ну-ка, убирайся!

Подрядчик счел за лучшее удалиться, пока погода еще сравнительно хорошая. Шурин остался у калитки, грозя ему вслед кулаком. «Спекулянт, мошенник!» — доносились до подрядчика его выкрики.

Когда Калске, понутив голову, подошел к своему дому, из машины вылезал сам директор Фаллен, руководитель... Подрядчик толком не знал, чем еще руководит директор Фаллен, кроме течения денег в свой карман. На лице директора застыло его обычное брюзгливое выражение, он нехотя сунул подрядчику свою вялую руку для пожатия. Тот был так расстроен, что сделал глупость (и сразу признал это сам), заявив с места в карьер:

— Мой шурин отказывается дать поручительство для нового векселя... Положение у меня критическое... Я подумал, не может ли директор Фаллен написать свое имя... Если бы я заручился им... Банки скоро закрываются...

Директор посмотрел на свои ручные часы.

— Еще есть время, — равнодушно сказал он.

— Не могу понять, отчего мой шурин такой протак... Охотнее дает опротестовать вексель, а имени поставить не хочет... Через три месяца я наверняка сумею его оплатить... Это мой последний кризис... Большая часть квартир почти готова...

Они вошли в дом. Подрядчик досадовал на свою говёрливость. Его собеседник упорно молчал. Они ходили по квартирам, где рабочие производили отделку. Фаллен тщательно осматривал все, задавал какие-то профессиональные вопросы малярам, а на своего спутника не обращал никакого внимания. Рабочие поглядывали на них со сдержанным любопытством. Они понимали, что Фаллен собирается купить дом, — до них тоже дошли слухи о денежных затруднениях подрядчика. Калске продолжал нервничать, то и дело вытирал платком потеющие руки, уголки его рта подергивались. Он все чаще смотрел на часы. Драгоценные минуты истекали, время закрытия банков приближалось. Он хотел поскорее отвести Фаллена к себе на квартиру и там наконец выяснить, поможет ли он еще хоть раз. Может быть, больше и не потребуется помощи... Но Фаллен беседовал с рабочими, которые обстоятельно отвечали на его вопросы. Он нарочно поворачивался

спиной к подрядчику, а когда они оставались с глазу на глаз, на его лице сразу же появлялось брюзгливое выражение. Подрядчик не решался снова заговорить о своем векселе. Только дома... Если Фаллен не поможет — все погибло. Тогда единственное спасение — револьвер... Сначала жену, эту горячку, потом сына, потом — самого себя...

Самообладание подрядчика было подвергнуто еще более суровому испытанию, когда они вошли в квартиру, где работал молодой жизнерадостный маляр; мадам Калске стояла рядом с ним — она, видимо, возвращалась из магазина — и держала за руку сынишку. Заметно было, что и маляр и она в приподнятом настроении. Правда, у маляра в руке была кисть и он работал. Что же тогда мадам понадобилось здесь? Подрядчику очень хотелось спросить об этом свою жену, как вдруг она, вспыхнув, попыталась выскользнуть из комнаты. Супруг, с трудом сдерживая ярость, крепко схватил ее за руку и представил директору. Брюзгливое выражение директорского лица при этом нисколько не уменьшилось. Мадам Калске между тем сумела уже прийти в себя и пригласила господ на чашку кофе.

— Кофе не пью по причине катара желудка, но если вы предложите мне стаканчик содовой, зайду с удовольствием, — милостиво сказал директор.

Мадам Калске удалась. Господа продолжали свой неторопливый обход, во время которого директор Фаллен придумал еще много интересных вопросов рабочим, а подрядчик успел по меньшей мере раз десять посмотреть на часы. Наконец в доме не оставалось ни одного необследованного уголка, и господа направились в квартиру подрядчика.

Мадам Калске подала содовой и, несколько поколебавшись, коньяку. Однако коньяк, видимо, не был вреден для желудка господина директора — он осушил две рюмки. Подрядчик счел момент подходящим и заговорил было о своем векселе, но обнаружил, что у него нет под рукой вексельных бланков. А ведь самое лучшее — вынуть бланк в тот момент, когда директор уже готов будет поставить свою подпись. Времени было в обрез. Он поспешно вышел в другую комнату за бланком. Директор остался один на один с мадам Калске.

— Дела у вашего мужа не блестящие...  
— Он уверяет, что это временные трудности... Дом почти готов, скоро его можно будет заселять...

— Дом будет готов не так уж скоро... Но самое печальное, что красивая женщина вынуждена страдать из-за денежных неприятностей... Вы не предвидели последствий... Я слышал, что вы и наследство свое предоставили в распоряжение мужа. Возможно, вы поступили благородно, но не умно.

Вернулся подрядчик.

— Меньше получаса осталось до закрытия банков...  
Мое положение — хуже некуда...

Директор посмотрел на часы.

— Ничего не поделаешь. Вы еще успеете съездить за своим векселем. Дом я осмотрел. К сожалению, мои собственные дела сейчас тоже не блестящие, и я не могу предоставить вам кредит. Попробуйте где-нибудь в другом месте!

— Я думал... может быть, директор подпишет вексель... Я все улажу в самый короткий срок...

Директор стал посматривать на дверь.

— Ошибаетесь. Таких векселей я никогда не подписываю.

— Рабочие ожидают получки...

— Плохи же ваши дела. Разве можно быть таким безответственным? Никогда не следует заходить в такой тупик...

— Я думал... до сих пор директор не отказывал в кредите... А сейчас дом почти готов. Я почти у цели. Дом скоро станет приносить доход...

— Я никогда не доводил своих дел до такого состояния... Сожалею... До свиданья, мадам!

Дверь за директором закрылась. Подрядчик испустил дикий крик, схватился за голову и бросился в свою комнату. Он принялся лихорадочно рыться в ящиках письменного стола, но не нашел того, что искал.

— Где мой револьвер?! — бушевал он. — Куда ты спрятала его, негодяйка? Пришел наш последний час...

Жена задержалась в соседней комнате, прибирая посуду. Затем, спокойная, показалась в дверях.

— Я продала его, чтобы купить коньяку для твоего друга...

В этот момент директор Фаллен, довольный, спустился по лестнице. Увидев троих рабочих, он остановился поболтать. Рабочие спросили, не продан ли дом.

— Еще не продан. Но подрядчик крайне плохо вел дела... Вряд ли вы сегодня получите жалованье.

Это огорчило рабочих. Дома каждого из них ждали с нетерпением, ждали полочки. Впрочем, они предчувствовали это. В такое тяжелое время приходится заниматься ко всякому, кто предложит работу...

— Значит, на улице окажемся немного раньше, чем думали, — заметил молодой жизнерадостный маляр.

Двое других, не сказав ни слова, пошли передать печальную новость своим товарищам.

Директор Фаллен продолжал путь. Прежде чем включить мотор машины, он взглянул на часы. Сегодня он намеревался осмотреть еще один дом. Какой-то подрядчик на старости лет тоже решил разбогатеть... У него не хватило средств даже на то, что сумел сделать Калске.

Машина тронулась. Директор удовлетворенно вздохнул. Завтра он выкупит у нотариуса вексель Калске, чтобы отменить его опротестование. Но прежде Калске подпишет бумагу на передачу дома директору Фаллену. Пусть человек спасет хотя бы свое имя... Но в остальном парня следует пригнуть к земле. Напрасно пытается взлететь выше, чем способны выдержать его крылышки.

Фаллен подсчитал, какую выгоду принесет ему этот дом — его лучшее приобретение за последнее время. Трудные нынче времена, но домовладельцем стоит быть — плата за квартиры высокая. А жильцы найдутся, ведь людям в любом случае надо где-то жить. Многие, подобно ему, стремятся стать домовладельцами и строят собственные дома, но мало у кого хватает средств достроить их... И вот эти дома падают к нему в руки, словно спелые плоды.

## Конфета

*Зарисовка из жизни двадцатых годов*

Мирья копалась в большом мусорном ящике, стоявшем посреди накаленной солнцем базарной площади маленького городка.

В ящик были свалены грязная бумага, окурки, скомканные папиросные коробки, рваная подвязка, глиняные черепки, развалившаяся корзина и всякие отбросы: овощи, ботва. Солнце жарило весь день, и все это одуряюще пахло гнилью. Мирья выбирала из ящика треснувшие помидоры, высохшую редиску, которые упали с великолепных овощных прилавков и были сметены сюда.

Рыночные торговцы уже сложили товар на маленькие ручные тележки и, толкая их перед собой, направились к своим складам. Полицейские наблюдали, чтобы после закрытия рынка никто ничего не продавал запоздавшим покупателям. Тележки одна за другой останавливались возле мусорного ящика, и торговец бросал туда пакет с отбросами.

Маленькая Мирья в это время стояла в стороне, большими темными глазами следя за движениями торговца, и, как только он уходил, бросалась к ящику, чтобы исследовать содержимое пакета. Обычно съедобного было мало, все больше грязная бумага да морковная, свекольная или брюквенная ботва. Торговцы — народ аккуратный и не такой уж богатый, хоть Мирья и считала, что богаче их никого на свете нет. Все свои находки Мирья собирала в сумку, висевшую у нее на плече. Она зорко следила за полицейским, ходившим по той стороне площади, и за подметавшими площадь дворниками. Вот один из них подошел к ящику, чтобы опорожнить его. Мирья опростелась бросилась в сторону, боясь, что дворник накричит на нее, — ведь она разбросала вокруг ящика бумагу, прибавив ему работы.

Но Мирья не уходила. Один из торговцев овощами задержался дольше других. Он еще только ставил ящики на тележку. Мирья уселась на горячие камни мостовой и стала ждать последнего пакета. К торговцу подошел полицейский и принялся выговаривать ему за задержку. Звуки их голосов доносились до маленькой Мирьи через раскаленную площадь.

Слабый летний ветерок шевелил грязные, свалывшиеся, неопределенного цвета волосы девочки, горячий булыжник жег ступни. Мирья сидела, держась руками за щиколотки, покрывшиеся от грязи маленькими, зудящими ранками. Кто-то из детей посоветовал ей помочиться себе на ноги, чтобы ранки зажили; Мирья

так и сделала, но от этого они стали болеть еще сильнее.

Ее взгляд наткнулся на крохотные лиловые цветочки, росшие между булыжниками. Они были такие маленькие, что умудрялись расти в узких пыльных ложбинках между камнями. Мирья погладила их рукой, но срывать не стала — в пищу они не годились. Шмыгнув носом и откинув волосы с глаз, она снова взглянула в сторону торговца, все еще препиравшегося с полицейским. Наконец торговец со своей тележкой двинулся вперед. Полицейский шел рядом, размахивая руками. Торговец был раздражен, его обветренное лицо покраснело, он сердито толкал тележку и забыл выбросить свой пакет с мусором. Мирья провожала их взглядом — торговец скрылся во дворе склада, а полицейский побрел к себе в участок. Теперь на площади оставались только дворники со своими метлами, которыми они при каждом взмахе поднимали густые облака пыли.

Один из них пылил метлой совсем рядом с Мирьей. Он был невысокого роста, бледный, прихрамывал — ранили в гражданскую войну. Он взглянул на девочку и, улыбнувшись, приветливо спросил:

— Что, прогнал тебя полицейский?

Мирья смутилась, склонила голову к плечу. Мать предупреждала ее, чтобы она не мозолила глаза полиции; Мирья так и делала. Она уже хотела уйти, но дворник так дружелюбно улыбался, и она осталась. Ей хотелось, чтобы он снова заговорил с ней, но дворник продолжал подметать, совсем, казалось, о ней позабыв. Мирья принялась внимательно рассматривать свои некрасивые, избитые о камни пальцы ног. С большого пальца ноготь совсем слез, и это показалось ей очень странным — как будто вовсе и не ее палец.

Дворники кончили работу, погрузили мусор на телегу, запряженную маленькой худой лошаденкой, сами уселись сверху и уехали.

Теперь площадь была чиста и совсем пустынна. Смотреть было уже не на что. Мирье пора было домой, но ее удерживал страх. Утром мать послала ее сюда с сумкой, сказав:

— Если попадется добрый продавец — попроси, а у злых не проси: они натравят на тебя полицейского. А если будет много народу и ты увидишь, что с прилавка



свисает кусочек мяса, можешь сунуть его в сумку даже без спросу, но так, чтоб никто не заметил.

Целый день бродила голодная Мирья между прилавками, заваленными едой, не смея раскрыть рта, чтобы попросить что-нибудь. Была суббота, продавцы спешили, им было не до нее. Только один-единственный продавец положил ей в сумку кусок сыру каменной твердости. А о том, чтобы взять без спросу, она не хотела и думать. Она помнила, как однажды, когда отец был еще жив и лежал больной, мать пришла домой расстроенная: ее обвинили в краже. Отец спросил, правда ли это. Мать плакала и говорила, что неправда. Тогда отец с трудом встал, оделся и вместе с матерью отправился выяснять дело. Вернувшись, они говорили до поздней ночи. Отец сказал тогда:

— Что же из детей выйдет, если ты начнешь воровать?

Эти слова запали Мирье в душу. Она не могла забыть взволнованный голос отца, убеждавшего мать. Поэтому Мирья никогда ничего не брала без спросу, как бы ее ни подстрекали. Она пыталась возместить свою непредпринимчивость, копаясь в мусорных ящиках, но результаты, как правило, были ничтожны. Ей страшно было идти домой, где ждали мяса и картофеля. Она знала, что дома ее будут бить. Она ведь старшая и должна что-то делать для младших. С грустью вспоминала она то время, когда отец был жив и еще не болел. В те времена мать даже смеялась иногда. А когда Мирья болтала что-нибудь, мать, бывало, кивала отцу:

— Послушай только эту девчонку! У нее ума, что у взрослой.

Но теперь мать уже забыла и об ее уме и о том, что она еще не взрослая. Мать давно болеет чахоткой и, наверно, скоро последует за отцом. Она с трудом делает работу по дому, но, рассердившись, каким-то чудом обретает силу и может высечь до крови.

В животе у Мирьи бурчало, как будто там возилась крыса. Но Мирья знала, что это червяки, которые, по словам матери, живут у нее в животе. Целый день они ничего не ели и теперь принялись есть ее самое. Она не плакала. Что толку плакать? Она плакала только тогда, когда ее били: матери надоедал ее крик, и она

переставала ее бить. Съежившись в комочек, девочка сдвинула живот рукой, пытаясь отделить червяков от стенок желудка. Боль и вправду утихла; значит, червяки отползли. Сумки она не тронула. Она берегла добычу для дома. Когда боль утихла, Мирья поднялась и тихонько побрела по жаркой и пыльной улице.

За спиной она услышала окрик:

— Девочка, подожди!

Она обернулась, но не остановилась, хотя ее кто-то догонял. Это была хорошо одетая девочка, из тех, чья одежда шита на заказ и сидит так изящно. Они едят яблоки очищенными — Мирья сама однажды видела. У них есть привычка, увидев ее, тут же морщить нос: «Не подходи, ты такая грязная!»

Сердце Мирьи ожесточается, когда она смотрит на таких. Ей хотелось крикнуть этой девчонке: «Баба-яга, костяная нога!»

Но Мирья тихая и робкая, ей не сделать этого. Словно не слыша зова, она брела дальше. Девочка, примерно такого же роста, как и Мирья, все же догнала ее и безмолвно протянула ей длинную конфету в темно-красной обертке.

Ошеломленная, Мирья взяла конфету. Девочка пошла обратно, и Мирья, стоя посреди улицы, проводила взглядом ее белую в складку юбку, круглую широкополую шляпку, ее полные ножки в коричневых бархатных башмачках и чулочках до колен.

Когда девочка исчезла за углом, Мирья посмотрела на зажатую в руке конфету, и ею вдруг овладело сомнение. Своими грязными руками она быстро развернула обертку. Из-под нее показалась соблазнительная розовая палочка. Но Мирья все еще не верила. Осторожно лизнув палочку, она почувствовала на языке освежающий вкус сахара и чего-то еще чуть кисленького. Она снова завернула конфету и задумчиво пошла дальше.

— Эй, девчонка, ты что, ослепла и оглохла? — кричал на нее возчик со своей дребезжащей телеги. Ему пришлось туго натянуть вожжи, чтобы удержать лошадь и не наехать на Мирью. Увидев ее робкую улыбку и какое-то отсутствующее выражение лица, он подумал: «Дурочка, наверно. Бедняжка». И поехал дальше.

А Мирья продолжала свой путь на дальнюю окраину. Может быть, мать смягчится, увидев конфету? Подходя к дому, она искала ободрения в этой мысли.

Был предвечерний час. Дети со всего дома играли во дворе — целая орава полуголых, грязных ребятишек. Они галдели, ссорились, смеялись. Заметив Мирью, они тут же умолкли и бросили свои игры. Кто-то крикнул:

— Водку продавать ходила?

В доме все говорили, что ее мать занимается этим запрещенным делом, и мальчуган хотел обидеть Мирью. Все злорадно засмеялись. С тяжелым сердцем, одинокая и отверженная, шла Мирья мимо насмешливой, бессердечной толпы детей к полуразвалившемуся флигелю, который был ее домом.

Мать встретила ее уже в дверях. Она быстро проверила содержимое сумки. Дочь видела, что мать осталась недовольна.

— И эту вонючую дрянь ты принесла детям? Как тебе не стыдно!

Голос матери перешел в крик, она протянула руку, чтобы схватить дочь. Мирья совала ей конфету и, плача, повторяла:

— Мама, мама...

Но мать схватила ее и потащила в дом, выкрикивая:

— Я покажу тебе «мама»!

Красная конфета упала на порог. Там нашла ее Мирьина младшая сестренка. Услышав, что старшую сестру наказывают, она выскочила из дому и под крики Мирьи с голодной жадностью засунула конфету в рот.

## Сплющенные лещи

Два ученика младших классов идут друг за дружкой по направлению к деревне. Оба измазаны кровью, оба угрюмо молчат. Незадолго до этого вновь вспыхнула извечная борьба между истиной и ложью, и сторонники этих двух столь противоположных категорий возвращались теперь окровавленные с поля битвы. На сей раз в потасовке одержал победу борец за истину, но это не принесло ему ни малейшего удовлетворения. Моральная победа поборника лжи — его противника — жгла его сознание, как соль рану. Победитель завидовал — где-то там, в самых сокровенных тайниках своего сердца, — горько завидовал паразитическому дару своего товарища, дару сочинять.

На мосту у мельницы Пекка будто невзначай высказал мысль, что лещи тоже относятся к животным, которые впадают в зимнюю спячку, как медведи и мухи. Отношение Рейно к сообщенной новости выразилось в нетерпеливом и резком:

— Врешь!

— Да нет же, не вру. Сущая правда. Об этом даже в «Зоологии» написано. Конечно, не в нашей, а в лицейской, там есть об этом целая глава: «Лещи и их зимняя спячка». Не веришь, так походи спроси у Касуринена, он консультант по рыбоводству и все это знает.

— А вот и не пойду. Второй раз ты меня не заставишь бегать зря. Осенью ты уверял, что ракушки поют, а когда я не поверил, ты тоже послал меня к Касуринену. Я и пошел, а Касуринен засмеялся и назвал меня простаком.

— Ну, о ракушках Касуринен не знает, он же не консультант по ракушкам. Но это правда, что они поют. Об этом даже стихотворение есть:

На волнах поет ракушка  
В келейке своей печальной:  
Ай-люли-люли...

Понимаешь, она приоткрывает свои створки, склоняет головку набок, складывает ручки крест-накрест и поет так печально, что печальнее уже некуда. Прошлым летом я один раз слышал, как пела ракушка; я тогда удил на берегу, у дома Туомаалы. Она пела такую грустную песнь, что я даже разревелся. И как раз в этот момент у меня ушел окунь весом с килограмм. Помнишь, тот чертовски большой окунь?

— Да брось ты вечно выдумывать. Сколько б ты ни говорил, я никогда не поверю, чтобы ракушки или другие улитки пели. И что лещи зимой спят — тоже не верю!

— Не веришь? Но... но... они же спят! Так спят, аж храп стоит. И потом, это же каждому заметно.

— Заметно? По чему заметно-то?

— Да хотя бы по тому, что зимой лещей не видать. А лучше всего заметно по тому, что лещи сплюснутые. Вот слушай, Рейно, в лицейской «Зоологии» это объяснено так: осенью, когда озеро замерзает, лещ становится совсем сонным и опускается на дно. Потом он начинает всплывать с илистого дна кверху, он всплывает, чуть покачиваясь, все вверх, все вверх и поднимается до самого льда. Там он и остается на всю зиму, прижатый боком к корке льда. Сверху на леща давит лед, снизу — вода, от этого давления он и становится сплюснутым. Весной, до нереста, лещ тощий, как тетрадка по арифметике. Но потом толстеет, и очень быстро. Если бы озеро совсем не замерзло и лещ не попадал в такие тиски, из него получилась бы совершенно круглая рыба. Вот африканские лещи — те круглые, они прямо как налимы.

— Это тоже враки.

— Да нет же, правда! У моего папы есть такая книга — «Реки и моря». В ней под одной картинкой написано: «Африканский лещ». Ну, ни за что бы не поверили, что это лещ, он совсем как налим. А финские лещи из-за зимней спячки все такие широкие, расплюснутые. А раз у нас даже лещи такие, чертовски тощие, то неудивительно, что и финский народ беден. Это ведь тоже причина бедности.

— Совсем и не от зимней спячки лещи тощие, просто они вообще такие уж рыбы.

Пекка не слышал слабого возражения своего дружка, он мечтательно уставился на покрытую льдом реку, и фантазия его безудержно помчалась вперед. Мгновение спустя увлекшийся мечтатель снова объясняет приятелю:

— Если бы вдруг наступила такая длинная зима, что она протянулась бы даже через все лето и не успел бы еще растаять старый лед, как наступила бы уже новая зима, вот тогда, вот тогда лед был бы толстым! И тут-то лещи стали бы совсем плоские, прямо как бумага. Из них получились бы чертовски хорошие бумажные змеи!

— Ха! Из лещей — бумажные змеи! Чудак, ведь рыба же не бумага! — глубокомысленно заметил Рейно.

— Ну и что из того? Можно же сказать: лещевой змей. Пожалуй, так я и буду говорить — здорово звучит! Эх и змеи бы получились из таких лещей! Ага, теперь я знаю, что сделаю. Сразу, как только мне в руки попадется такой лещ, я накачаю ему велосипедным насосом полное брюхо воздуха и потом мигом перевяжу ему рот. Конечно, самое правильное — еще до накачивания привязать к его хвосту длинную веревку. А то — поминай как звали!

— Да куда же рыба на суше денется? Вот потеха. И, во-вторых, рыб нельзя мучить, это грех.

— Ничего подобного. Лещ, который стал плоским, как бумага, настолько нечувствителен, что никакого греха в этом нет. А ты не перебивай — видишь, я соображаю!.. Я изобретаю, как надо поступить. Конечно, он удерет, если заранее не привязать к хвосту веревку. Такой лещ, понимаешь, поднимется в небо, как воздушный шар, раз у него полное брюхо воздуха.

— А вот и не поднимется! Велосипедная камера ведь не взлетает, сколько ее ни накачивай. Эх ты, простофиля! Воздух вообще ничего не поднимает вверх, а в велосипедном насосе тот же самый воздух, что и вокруг нас.

— Но поднимается же дирижабль! — уже несколько раздраженно ответил Пекка. Возражения Рейно ему явно мешали. А последнее дельное замечание товарища даже несколько обескуражило его. В жизни всегда так:

достоверные факты никогда не церемонятся с фантазиями. Рейно, опираясь на неопровержимость фактов, как на каменную стену, продолжал просвещать его:

— В щепелинах никакой не воздух, в них газ такой — гелиум.

Но Пекка уже снова почувствовал себя уверенно, он отмахнулся от этого заявления как от общеизвестной истины.

— Ну ясно, геливелиум. Видишь ли, в брюхе у леща воздух тоже превратится в газ — геливелиум. И полный порядок. Только здесь нужна осторожность.

— Это почему еще? — спросил Рейно. Теперь настал его черед прийти в замешательство. Каменная стена рушилась, факты ускользали, мелькая перед глазами, как спицы колес. Зато Пекка, вновь ощутив под ногами твердую почву, снисходительно поучал:

— Тут, видишь ли, нужна осторожность, чтобы не накачать слишком много воздуха. В брюхе у леща газа геливелиума может образоваться столько, что рыба лопнет. В Америке этот вопрос изучали еще до войны, и там высчитали манометром, что в брюхо сплющенного леща можно накачать только три атмосферы воздуха. Стоит только качнуть насосом лишний разок — и сразу пшш-шш-бумм! И это будет не какой-нибудь там слабенький «бум». Когда прошлой осенью в отаве лопнула корова Туомаалы, тогда тоже здорово бабахнуло! В брюхе у Розки было такое жуткое давление газа, что при взрыве бабка Паалила тут же умерла. От разрыва сердца. Я тогда подумал: ясно, взорвало на лесопилке паровой котел. А это, оказывается, лопнула корова Розка деда Туомаалы.

— А вот и нет, и не так вовсе дело было! Я ту Розку видел сразу, как только она лопнула, и ничего там не бабахнуло. Она просто задохнулась — желудок ее распух от клевера и в лепешку раздавил сердце. И вовсе корова не лопается, она просто подыхает. Вот ты опять соврал да сразу и попался, потому что та корова совсем не бабахнула!

— Ах, вот оно что! Значит, это все-таки был котел на лесопилке! Я так и подозревал, это не могла быть Розка. Да-а, нетрудно догадаться, конечно, что сердце у коровы может сплющиваться. Это же точь-в-точь как с лещом, когда он сплющивается между водой и льдом.

Как раз от этих тисков в его брюхе и образуется газ. Остается только накачать туда три атмосферы обыкновенного воздуха, который бывает при солнечной погоде. Дождливому воздуху нельзя: в нем много облачного газа и он все дело испортит. Только три атмосферы погожего воздуха — и газ в леще тут же превратится в газ геливелиум. И тогда лещ взлетит на воздух, как пушка.

— Ну и загнул! Да ведь пушка-то никуда не взлетает, это же снаряд пушечный...

— Ну, пусть снаряд, это одно и то же. Вечно он спорит. Словно надзиратель какой! Погоди, весной увидим, как Рейно Антила прикусит язык, когда Пекка запустит в небо геливелиумных лещей! Я уже все высчитал: для этого дела понадобится ровно шестьсот лещей.

— Для какого дела?

— Для путешествия на Канарские острова.

— Для чего-о?!

— Сразу, как кончится школа, я отправлюсь на Канарские острова. Ничего не поделаешь — доктор прописал. У меня в такой страшной форме распад клеток, что в климате Финляндии эту болезнь не вылечишь. Надо отправиться на Канарские острова и пить молоко канареек по четыре децилитра в день. Это единственное средство, от которого проходит распад клеток. И надо прямо сказать — чертовски хорошее средство! Ведь распад клеток очень опасная болезнь.

— И у тебя такая болезнь? Но ведь школьный врач сказал, что ты здоров, как бык.

— Э, как бы не так! Видишь ли, я сам попросил врача говорить это, чтобы не поднимать паники. Иначе пришлось бы закрыть всю школу и учитель не получил бы жалованья. Сейчас я тебе нечаянно проговорился, но ты должен пообещать, что будешь держать язык за зубами, иначе это вызовет лишнее беспокойство и пострадают школьные занятия. Конечно, это неприятно, но что поделаешь. Весной придется отправиться.

— Ну а что ты тут толковал насчет шестисот лещей?

— Что толковал? Неужели ты думаешь, что у нас в семье есть средства нанять для моей поездки самолет? Нет у нас таких денег, да и налоги вдобавок такие большие. А на пароходе ехать нельзя, эта болезнь



чертовски осложняется в морском климате. Придется путешествовать по воздуху. Я высчитал, что для этого потребуется ровно шестьсот сплюснутых лещей. Шестисот лещей, да, точно! И ровно тысяча восемьсот атмосфер, — этого хватит на то, чтобы доставить человека куда угодно, вместе с недельным запасом пищи. Вот таким манером я и попытаюсь попасть на Канарские острова. Ничего не попишешь, надо лечиться. Распад клеток — это тебе не шутка.

— Ну и наврал же ты с три короба! — воскликнул Рейно. Глаза его от возмущения, казалось, готовы были выкатиться из орбит. Только теперь до него дошла вся бессмыслица этой затеи. Но Пекка не стуживался и на сей раз. Он ответил дружку совершенно серьезным тоном:

— Не говори так, приятель. Подумай немного, прежде чем говорить. Это страшная болезнь. И кто знает, не перешла ли она уже с меня на тебя? Черт, а ведь и вправду перешла! У тебя глаза какие-то... вытаращенные! Признаки болезни распада клеток всегда в первую очередь появляются в глазах: они вытаращиваются. Ай-ай-ай, Рейно, я просто боюсь за тебя! Когда глаза начинают таращиться как раз вот так, то...

Вот тогда-то это и произошло. Глаза Рейно и в самом деле начали выкатываться все более угрожающе, и вдруг все вокруг завертелось перед ним в сплошном вихре. Задыхаясь от гнева, он ринулся на товарища, и через минуту оба барахтались на заснеженном мосту в жестокой схватке. Бедняге Пекке при этом досталось крепко, ибо в жизни всегда так: честность побеждает, а у лжи, как гласит пословица, ноги короткие. Как видно, Рейно не был заражен изнурительной болезнью распада клеток, ибо в его правдолюбивых кулаках оказалась огромная сила.

Теперь они подходили к родной деревне, окровавленные и молчаливые. Рейно вышагивал впереди, Пекка плелся за ним, утирая капающую из носа кровь. Но как безнадежно все-таки бороться против лжи! Взбучка ровно ничему не научила Пекку. Когда Рейно свернул к себе во двор, Пекка напомнил ему совершенно серьезно и явно озабоченно:

— Послушай, однако, Рейно, что я тебе скажу. Не приходи завтра в школу. По крайней мере сходи

сначала к врачу. Я совершенно уверен, что у тебя распад клеток. Твои глаза — абсолютно такие же, как у тех, кто страдает этой болезнью. Послушай меня, Рейно...

Но Рейно шел своей дорогой, шел с вытаращенными глазами, придавленный горьким сознанием своей ничтожности: никогда, никогда в жизни он не научится лгать так удивительно, как Пекка...

Пекка постоял еще некоторое время у ворот дома Рейно, с жалостью глядя вслед бедному больному товарищу. Затем он продолжал свой путь, качая головой. От всего своего заботливого и доброго сердца он вздохнул.

— Бедный Рейно, у него в жуткой форме распад клеток. И надо же! Ведь, кроме молока канареек, тут ничто не поможет. Не поговорить ли мне с его матерью? Да, конечно, я должен поговорить. Черт, до чего же страшно у него вытаращены были глаза!

## Мечта о доме

Один из друзей моего детства, мечтавший преуспеть в жизни, решил строить дом. По его мнению, это было очень выгодно, так как при строительстве дома сбережения делаются как бы сами по себе, почти незаметно. Государство и муниципалитет выдавали в то время льготные ссуды, участок же можно было приобрести почти задаром. Здравомыслящий человек, уверял он, не упустит такой случай. Они с женой за двадцать лет рассчитаются со всеми долгами, и дом стоимостью не менее ста тысяч марок станет их собственностью.

Я, у которого фантазии всегда было больше, нежели упорства, имел определенное мнение на этот счет. С моей точки зрения, сто тысяч марок — это не ахти какая сумма, всего-навсего одна десятая миллиона. А двадцать лет — срок невероятно большой: треть человеческой жизни! Если столько времени отдать на строительство дома, то что же останется на все те неисчислимыя соблазны, которыми прельщает нас жизнь? Но я смолчал: нельзя отнимать у человека даже самых крошечных надежд, коли не можешь дать взамен ничего другого. Мой друг и его жена исчезли из поля моего зрения на целый год. И вот однажды я получил приглашение посмотреть их новый дом.

Начало шоссе, ведущего из нашего города, было горделивое, широкое и прямое и содержалось в хорошем состоянии. Ведь и на его долю выпадала задача поддерживать честь города и давать почувствовать приезжим, что они находятся в достойном уважения месте. В нескольких километрах от города шоссе разветвлялось: от него отходила проселочная дорога, которая вела путника в новую деревню, выросшую в долине между невысокими скалами благодаря частному

предпринимательству и поддержке со стороны государства и муниципалитета. Какая-то речушка впадала в море чуть повыше деревни, а немного поодаль ее устье расширялось, образуя неглубокий заливчик, с низким, поросшим густым ельником островком. Говорили, что в этом заливчике в старину водилось много рыбы. Из темного леса по обе стороны реки тут и там выглядывали замшелые стены избушек.

Была осень, когда я прибыл туда. Новые дома, желтые и ладные, окруженные выкрашенными заборами, стояли прямыми рядами, словно солдаты на параде. На крошечных приусадебных участках, в разжиженной дождем глинисто-серой земле гнили стебли картофеля и овощей. Грязь чмокала под ногами. Деревенские жители, изредка попадавшиеся навстречу, с любопытством разглядывали незнакомца, думая, быть может, что вот, мол, еще кто-то идет присмотреть себе место для дома. За одним из заборов надрывалась дворняжка. Между готовыми домами встречались недостроенные, вокруг которых в беспорядке валялся строительный материал, еще более подчеркивающий скуку грязной осенней дороги. Но если у путника есть хоть немного воображения, ему нетрудно представить себе, что в разгар лета здесь, видимо, довольно мило: сосны источают ароматную смолу, со скал, окружающих деревню, доносится благоухание вереска, из-под земли пробиваются первые ростки картофеля, а морская синь светлеет и приобретает теплую окраску, и тогда жизнь кажется прекрасной. Но в такой хмурый осенний день, когда низкие, набухшие от воды тучи даже полдень превращают в вечерние сумерки и ноги увязают в жидкой грязи, вас охватывает отвращение. Почему под строительство новых жилых домов надо непременно отводить такие вот сырые низины? Неужели ради этих приусадебных участков?

Дом моего друга стоял последним в конце улицы. Он был еще не окрашен и не окружен забором, в нескольких окнах даже не было рам. Видимо, еще не все комнаты были пригодны для жилья. Зато участок был уже весь вскопан. На крыльце с трубой во рту сидел сам хозяин. Позднее я понял причину появления трубы: трубочный табак дешевле сигарет. В его улыбке было что-то новое: радость обладания, удовлетворение

хозяина. Как-никак, он сидел на крыльце своего собственного дома. Заметив меня, он с достоинством поднялся и дружески-снисходительно приветствовал:

— А, пришел-таки! Ну,ходи,ходи в дом.

Жить,оказывается,пока можно было лишь в одной комнате.Они с женой откладывают деньги на погашение долга,пояснил мой друг.Но ничего,скоро будут готовы и остальные комнаты.Возможно,на первых порах придется сдавать их внаем,чтобы справиться с процентами,правда,это не так уж для них обременительно.Если они будут живы-здоровы и хватит сил,дом через двадцать лет станет их собственностью.Пососав трубку,хозяин взглянул на меня с чувством превосходства: свой дом—свои порядки,никто тебе не указчик,живи,как сам хочешь...

Мы осматривали дом.Я говорил о том,сколько всевозможных забот ляжет с годами на плечи его владельца.Да,их будет не так уж мало,соглашался мой друг.Но зато дом обещает быть хорошим.Стоило кое-чем и пожертвовать ради этого.

За столом,когда мы пили кофе,я заметил,что хозяин и хозяйка относятся друг к другу с особой теплотой.Здесь,бесспорно,свою роль сыграла постройка дома.Их сблизила одна цель,во имя которой они теперь старались.А каким взглядом они смотрели на своего ребенка,игравшего на полу!И невольно в мою душу впился маленький шип зависти.Ибо хотя так называемое счастье и является чем-то немного глупым,состоит обычно из простоты и наивности,из эгоизма и неведения,но все же при виде счастливой четы невольная грусть охватывает тех,кто обездолен судьбой.

Когда я уходил от них,настроение мое было неопределенное,но скорее светлое,чем мрачное.Приятно все-таки хоть иногда встретить довольных людей!(Иногда,но не слишком часто.)Хорошо,что есть и такие люди,которые знают,для чего они живут в этом мире.И пусть даже смысл их жизни состоит в постройке дома—это все же лучше,чем ничего.В какой-то момент мне почудился во всем этом перст самого создателя,указующий,как должно жить,чтобы выполнить его заветы.

После этой поездки я не вспоминал о моем друге несколько лет.Множество всевозможных дел отвлекало меня,направляя мои интересы в другое русло.Однако,

сам того не сознавая, я тоже, казалось, строил собственный дом — правда, не из досок и не из кирпичей, — дом, который так никогда и не был построен. Время шло, и я совершенно забыл о моем друге.

И вдруг я получил известие о нем. Среди повседневных забот, как снег на голову, на меня свалилась ошеломляющая новость! в газетах сообщалась, что некий разнорабочий подорвал себя динамитом: Фамилия моментально подсказала мне, о ком шла речь.

Чего только не перечувствуешь, получив вдруг такое невероятное известие! Мы вместе росли, вместе играли и бегали в школу. Потом, правда, пути наши разошлись, но ничто не могло вычеркнуть из памяти лет детства и юности. Так как же я мог прожить долгое время, даже во сне не вспоминая о том, что где-то рядом живет друг детства, который с надеждою строит свой собственный деревянный дом? И вот он ушел из жизни. Подорвал себя динамитом. В такие моменты просыпается совесть даже у самого очерствелого, самая циничная душа чувствует свою никчемность. Вся логика умозаключений, все теории, казавшиеся прежде неизблемыми, как скала, пеплом рассеиваются по ветру. Ты не выполнил свой долг!.. И человек, не в силах остановить поток самообвинений, готов — правда, слишком поздно, — но теперь он готов из чувства необъяснимого ужаса, из трусливого страха совершить то, что ему надлежало сделать давным-давно из совершенно других, гораздо более высоких человеческих побуждений.

Итак, я снова шел проселочной дорогой в деревню. Снова была осень. Грязь чмокала у меня под ногами, как и в прошлый раз, и стебли картофеля и овощей гнили в глинисто-серой земле. Приближаясь к дому моего друга, я уже издали заметил, что он все еще не достроен... Один оконный проем без рам и без стекол зиял, словно выколотый глаз. Забор был готов, но еще не покрашен. Есть, видно, на свете люди, которым как бы заранее предопределено, что их дома никогда не будут достроены.

Детей теперь было двое. Жена, еще молодая женщина, тупо смотрела перед собой, неопрятная, пришибленная несчастьем. Подобно тому как раздробленная часть тела далеко не сразу может ощутить боль, поскольку разорванные нервы атрофировались в момент ка-

тастрофы, так и человеческая душа, получившая слишком жестокий удар, не в силах тут же осознать размеры несчастья. Именно в таком состоянии нашел я жену моего друга. Казалось, она еще не поняла того, что произошло, и только в силу привычки исполняла домашние обязанности, ухаживала за детьми. Она не ответила на мое приветствие, по лицу ее нельзя было понять, узнала она меня или нет. Тем не менее я присел и начал ее расспрашивать. Я должен был узнать, почему он это сделал. Почему?

Сначала женщина ничего не отвечала. Но мое участие и моя настойчивость, казалось, заставили ее немного очнуться. То и дело всхлипывая, она заговорила, роняя отрывочные фразы, которые постепенно пролили свет на случившееся. Осторожно направляя разговор, я сумел выяснить, в чем же крылась причина несчастья.

Мягко выражаясь, виной всему материальные затруднения.

Они бывают почти у каждого и отнюдь не являются чем-то новым в этом мире. Едва ли было неожиданностью и то, что они пробрались в этот дом, в эту семью. Может быть, все обошлось бы, мечтай они о доме поменьше и поскромнее. Строительство же такого размаха оказалось им не по плечу. Помимо низкопроцентной ссуды от государства и муниципалитета им пришлось взять еще значительный частный кредит. Выплата процентов и погашение долга постепенно превратились в тяжкий груз. Ведь одновременно нужно было отделывать дом, приобретать все необходимые материалы. От каждой заработанной марки, от каждой выращенной ими картофелины они отрывали часть и швыряли в пасть невидимому чудовищу, только бы оно разрешило им закончить постройку. Вырастив из поросенка свинью, они и от ее мяса отрывали часть все для той же цели. Долг, который вначале казался незначительным, постепенно вырастал в ненасытное чудовище, которое иной раз даже у детей вырывало кусок изо рта. Первое время, однако, все шло более или менее терпимо, не совсем, правда, по их расчетам, но все же шаг за шагом дела продвигались вперед. В этой долине между скалами стояло больше ста точно таких же новых домов и жило больше ста семей, у которых дела

тоже продвигались вперед — у кого лучше, у кого хуже. Но в этом доме дела постепенно зашли в страшный тупик и, словно ударившись об острые выступы скал, все мечты их разбились вдребезги, превратились в жалкие обломки.

Началось с того, что мужу придавило ногу каменной глыбой. Сперва это не предвещало для семьи большого несчастья; сломанная кость голени довольно скоро полностью срослась. Но мужу все-таки пришлось пробыть дома несколько месяцев и довольствоваться незначительным пособием по страхованию от несчастных случаев. Только поправился муж, как почти на целый месяц слегла в постель с воспалением легких жена. Доходов становилось все меньше, а расходы возрастали. И вот к очередному сроку уплаты процентов и долгов они уже не смогли собрать денег. Однако вера пока еще не покинула их. Муж пошел в банк, и ему удалось все уладить.

Они еще верили, что стоит им выздороветь, и дела их поправятся и жизнь войдет в свою колею. С этой надеждой в сердцах они встретили появление на свет второго ребенка. Снова дополнительные, не предусмотренные ранее расходы. Вдобавок ко всему оба оказались на некоторое время безработными. Где-то — в Америке, Китае или Южной Африке — произошло что-то, вследствие чего, в частности, в Финляндии больше не требовалось такого количества разнорабочих, как прежде. К следующему сроку уплаты долгов у них снова не было необходимой суммы.

На этот раз директор банка уже не был так сговорчив, он, видимо, колебался, но все же дал отсрочку. Муж с женой отчаянно напрягали все силы. Разве могли они отказаться от дома, которому посвятили всю жизнь? Они рыбачили, собирали ягоды, грибы и хворост в лесу, брались за любую временную работу. Но заработки стали значительно меньше, чем в то время, когда они производили свои расчеты. Незримое долговое чудовище становилось все более ненасытным и неумолимо требовало своей доли. Оно уже не довольствовалось марками и картофелинами, оно вонзало когти в одежду, мебель, пищу, ибо у экономической системы свои законы. Муж с женой боролись, стиснув зубы, они одевались все хуже, дом их все более пустел. Они похудели, и вид у них был плачевный. Но несмотря на



все старания, пришел день, когда им нечего было отдать, нечего было бросить в пасть чудовищу. Дом был назначен к продаже с аукциона: он достанется тому, кто предложит больше.

В тот же день муж достал откуда-то динамит; а может быть, взрывчатка была у него с той самой поры, когда дом только начинали строить. С динамитом и коротким куском зажигательного шнура он отправился в ближний лес, положил динамит под один из выступов скалы, сам взобрался наверх и поджег шнур. Бродившие поблизости ребятишки услышали взрыв и прибежали посмотреть...

Собственно, нет ничего удивительного в том, что какой-то дом, владелец которого оказался неплатежеспособным, назначили к продаже с молотка. Но разные бывают дома. Большинство домов построено только из камня, цемента, кирпича, досок и гвоздей. А в этот дом было вмуровано и вколочено нечто иное: думы и чаяния, надежды, цель всей жизни. И человеку, смысл жизни которого продают с молотка, вероятно, невозможно жить дальше. По крайней мере, мне так кажется. Что делать в этом мире без жизненной цели?

Возразят, конечно, что, мол, они могли бы начать все сначала. Правда, случается, что кое-кто, умудренный ошибками, начинает все сызнова, начинает более умело, и во второй раз ему все удастся. Однако надо помнить, что в этой семье были дети.

Но главная причина была, по-видимому, в том, что этому человеку не с чем было начинать. Чтобы начать сначала, нужны силы, нужно, чтоб было что отдавать. А он уже отдал все. Он вложил все, что у него было, в свой первый и единственный дом. Когда этот дом отняли — отняли все, у него ничего не осталось, все пошло с молотка. Более слабые и менее пылкие натуры, как правило, отказываются от борьбы задолго до краха, и поэтому они могут начинать сначала не один раз. Мой друг был иным человеком. Он поставил на карту сразу все, и когда игра была проиграна, настал и его собственный конец.

Кончив рассказывать, женщина поднялась, сделала несколько шагов и устало опустилась на другой стул. На ней было милое серенькое платье. Лицо ее, правда, похудевшее и заплаканное, казалось красивым. Ей, по-

видимому, не было и тридцати. Я невольно подумал о том, что уже через несколько лет она позабудет все случившееся или по меньшей мере оно не будет причинять ее душе такой боли, и тогда она, вероятно, уже сможет улыбаться...

Да, женщины в этом отношении отличаются от мужчин. Только мужчины способны всего себя отдать какой-то идее или даже какому-то дому настолько, что когда их лишают возможности достичь своей цели, вместе с тем лишают и жизни. Женщины могут быть безраздельно преданными любимому мужу и детям, но лишь в исключительных случаях сохраняют верность уже отжившему. Эта женщина без устали, как одержимая, трудилась рука об руку со своим мужем. Однако было заметно, что она по-прежнему полна жизненных сил.

Правда, в этот момент она еще не знала, что ей нужно делать, за что приняться, хотя впереди были самые неотложные дела: тело следовало предать земле; приближался день аукциона; надо было подыскать новое жилище, уехать отсюда.

Здесь-то мне и представился случай хоть немного искупить свою вину перед умершим другом, взяв на себя все эти практические дела. Мой друг, или, вернее, его обезображенные останки, были надлежащим образом преданы земле. А спустя несколько дней его семья уехала из новой деревни; в телегу была впряжена резвая молодая кобыла. Жители деревни, которым повезло больше, с серьезными лицами смотрели нам вслед. Может быть, и среди них были такие, которые, не улыbnись им вовремя судьба, едва ли были бы теперь среди живых. Но вряд ли их было много. Люди, подобные моему другу, встречаются не часто. За жизнь все цепляются до последнего вздоха. Большинство готово отказать от мечты, от обеспеченности, от семьи, но только не от жизни. И, быть может, именно поэтому такое исключительное явление, как случай с моим другом, вызывает ужас; и после смерти такого человека от него остается как бы темная тень, которая падает на весь окружающий его мир, мир, в котором он двигался, работал, думал и весь отдавался своей испепеляющей идее.

Грязь прилипает к колесам, возница бранится, детишки дрожат от пронизывающего холода... Прощай, мечта о собственном доме!

## Далекый остров

С тех пор как Ханнес и Пекка себя помнили, они всегда чувствовали неослабный интерес к маленькому одинокому острову, который в хорошую погоду был ясно виден посреди водного простора. Заросший густым и необычайно высоким сосняком, он походил на какой-то удивительный букет в необъятной вазе моря. С утра до вечера он купался в солнечных лучах. В тот миг, когда край солнечного диска показывался на восточной стороне неба, его лучи уже ласкали вершины высоких деревьев маленького острова, а когда солнце опускалось на западе, оно, словно прощаясь, окрашивало те же самые вершины пылающим заревом. Ветры и бури бушевали на островке сильнее, чем где-либо в другом месте. С какой бы стороны ни дул ветер, маленький беззащитный островок всегда встречал его с веселой доверчивостью. В бурю морские волны, разбиваясь о прибрежные камни, долетали почти до вершин сосен. Ветер яростно и зло буйствовал в густых кронах деревьев. Во время дождя остров, казалось, закутывался в серую пелену тумана и выглядел тогда таинственным и загадочным. Осенью все другие леса, расцвеченные желтыми и красноватыми пятнами, постепенно обнажались, стройные же сосны маленького острова высились над ледяными осенними бурунами такие же, как всегда, — жизнерадостно пышные и зеленые. А зимою, когда море замерзало и снег застилал все своим белым покрывалом, остров облачался в лед и иней, словно в роскошную королевскую мантию, в которой переливались миллионы искрящихся алмазов.

— Интересно, а какой он вблизи? — много раз спрашивали мальчики друг друга. Что это за счастье — ступать по его земле, наслаждаться его солнцем, сияющим с утра до вечера, отдыхать в прохладной тени его густых деревьев, слушать могучий шум ветра на его незащищенных берегах и испытать ярость бури под надежной защитой его лесной чаши!

Пытаясь узнать что-нибудь об острове, они то и дело обращались к своему отцу с бесконечными расспросами, но получали только односложные ответы. Островок был слишком ничтожен, чтобы интересовать взрослого мужчину. Во время рыбной ловли отец

несколько раз приставал к его берегу, но ему не удавалось там найти даже мало-мальски сносной защиты от ветра. Островок со всех сторон окружен рифами, так что даже на лодке трудно подойти к его каменистому берегу, а растительность там столь дикая и буйная, что вглубь едва ли проберешься без топора в руках. Что же можно рассказать о таком острове?

Но, глядя на островок издали собственными глазами, мальчишки не могли поверить, что он такой неинтересный, как утверждал отец. Они и раньше замечали, что на свете существует немало вещей, красота которых не трогает отца.

Теплыми летними вечерами, когда заходит солнце и рыба клюет лучше всего, они часто сидели с удочками на облюбованной ими прибрежной скале и видели, как вода вокруг острова иногда словно горит огнем и пылает, переливаясь всеми красками заката. По мере того как солнце опускалось, зарево постепенно поднималось все выше и выше, освещая деревья острова сначала целиком, потом только их вершины, чтобы наконец беззвучно и незаметно исчезнуть в вышине, уступив место темным ночным теням. А утром, в туманной рассветной дымке, остров вдруг словно поднимался на воздух и, казалось, повисал в пространстве между морем и небом. Нет, он не был похож на другие острова. Достаточно было только раз взглянуть на него, чтобы проснулось неудержимое желание попасть туда. Он мог дать пищу фантазии в любые часы и в любое время года. И если ты видел его в туманной утренней дымке, или в лучах вечерней зари, или когда на нем бушует осенняя буря, либо морозным и ясным зимним днем — он не мог не пригрезиться тебе ночью.

Не удивительно, что остров беспрестанно занимал думы мальчишек и что в один прекрасный день они почувствовали: им просто необходимо попасть туда.

Но как? Путь был дальний, отец же строго-настрого запретил детям брать лодку, и они не смели ослушаться его приказа. Как же быть? Ведь до острова добраться можно только морем — в лодке или по льду. Значит, ничего другого не остается — надо дожидаться зимы.

Все знают, как долго тянется время, когда чего-нибудь ждешь. Каждое утро, проснувшись, мальчишки прежде всего бежали на берег посмотреть — а как там

сегодня. Лето потеряло в их глазах все свое очарование. Они перестали играть в летние игры и лишь нетерпеливо выискивали приметы его скорого конца. Прекрасные теплые дни вызывали в них только недовольство и портили им настроение, зато как радостно приветствовали они бури и холодные ветры — вестники приближающейся осени. Их перестали радовать и рыбная ловля, и прогулки в лес, катанье на лодке с отцом, птичьи гнезда с подрастающими птенцами, ягоды и другие дары лета. Всем их существом неотвязно владела одна-единственная мысль: побывать на том далеком острове, одиноком среди морских волн. Днем их фантазия переносила туда все чудеса, какие только можно выдумать. А по ночам они совершали во сне походы на остров, и там, в заколдованных дебрях, их ждали необычайные приключения.

В этот год они научились видеть, как лето сменяется осенью, а осень — зимою. Как дни мало-помалу укорачиваются, а ночи становятся длиннее. Как тепло почти незаметно переходит в прохладу, а море, небо и леса меняют свой цвет. Как ветер постепенно становится резким и шумит все злее, как от этого холодеют воздух и вода, умирают цветы возле дома, стихает щебетанье птиц в лесу и в конце концов замолкает совершенно, стаи рыб уходят от берегов в глубокие и долго еще сохраняющие тепло открытые воды. А однажды после ясной и звездной ночи утро вдруг оказывается настолько холодным, что уже нельзя выйти из дому босиком. Листья на деревьях желтеют, трава становится коричневой, словно от ожога, и устало клонится к мокрой земле. Затяжные осенние дожди заливают землю: леса, поля, дома — все, все. Канавы превращаются в бурные потоки, вода протачивает на дорогах борозды и ямы, образует в углублениях целые пруды и наконец вторгается глубоко под землю, в тайные жилы ключей.

Остров в это время неподвижно застывает в объятиях беспрерывно бушующего моря. Нигде в другом месте брызги не взлетают так высоко, как на его желанных берегах. Если хочешь по-настоящему испытать всю силу осенней бури, то ее нужно испытать именно там!

В одно прекрасное утро все пруды и лужи затянуло льдом. С восторгом пробовали мальчики крепость льда. Теперь-то уж недолго ждать!

Небо день ото дня становилось все более блеклым и холодно-серым. Целыми днями на его краях рдели холодно-яркие зори, а в дождливые дни тучи оседали почти на самые верхушки деревьев, и весь мир словно сжимался. Остров, казалось, отодвигался дальше и лишь слабо мерцал в серой дымке тумана. Но как только погода прояснялась, он снова показывался во всем своем великолепии, красуясь зеленою могучих сосен, с которой не могли справиться даже самые лютые ночные морозы.

Наконец начало замерзать и море. Первыми покрылись сверкающей темно-зеленой пленкой бухты залива. Постепенно граница льда отходила все дальше в открытое море. Несколько раз буря ломала лед, крошила его на звонкие осколки, но стоило ветру затихнуть и лед снова упрямо двигался к глубоким водам. И вот однажды утром мост на остров был готов. Темный сверкающий лед простирался далеко за линию горизонта и сиял на холодном декабрьском солнце, словно отполированная сталь, словно бескрайнее зеркало, в которое смотрелись берега островов. Одиноким маленький островок высился посреди этого зеркала подобно миражу, окруженный собственным отражением и полыханием солнца в вершинах высоких деревьев. Он был похож на застывшую сказку, на огромную драгоценность, на приснившееся во сне диво.

Но день Ханнеса и Пекки еще не настал. Лед был недостаточно прочным.

Много дней после этого сыпал снег. Скоро все стало ослепительно белым. Пришла зима.

Вот тогда-то и наступил долгожданный день, день осуществления мечты.

Дрожащими от нетерпения руками достали мальчики лыжи. Было утро; солнце только поднялось, и его холодные лучи, словно зарево пожара, горели на краю неба. Все искрилось и сверкало снежной белизной. Но красивее всего сверкал маленький далекий остров. Он весь был припорошен инеем и легким снежком, переливался, играл на солнце подобно громадному сказочному бриллианту. Солнечные лучи отскакивали от него искрящимися зайчиками, и весь он был так ослепителен, что даже издали на него трудно было смотреть.

Мальчики отправились в путь тайком, сердца у них трепетали. Пронизывающий январский ветер кусал и огнем обжигал щеки. Далекое холодное сияние солнца слепило глаза, но не грело. Лыжи скользили хорошо, и, видя перед собою переливающуюся в своем холодном блеске цель, мальчики продолжали путь, все более и более напрягая силы. Все их думы и помыслы были устремлены к острову чудес, который приближался с каждым взмахом лыжных палок.

Приключения, о которых они столько грезили, сотни, тысячи головокружительных, сказочных приключений — все они осуществляются в то самое мгновение, когда их нога ступит на остров! Все прочитанные ими сказки, все чудеса, о которых они мечтали, — сотни, тысячи сказок и чудес — сегодня станут явью. Их рты смеялись, глаза улыбались ветру, солнцу и искрящемуся насту. Они забыли обо всем на свете, кроме того, что сегодня их день и что лыжи несут их на далекий остров.

Дома никто не заметил, как они отправились в путь. К середине дня родителей начало удивлять отсутствие детей, и постепенно они становились все более озабоченными. Куда так внезапно могли исчезнуть дети? Их искали повсюду: возле дома, в местах, где они обычно играли, но нигде не нашли.

Мальчики вернулись под вечер, когда последние лучи солнца догорали на далеком острове. Они вернулись усталые и серьезные, неся в своих юных сердцах страшную тайну бытия. В их мыслях не было больше ни одного приключения, в сердцах — никакой надежды. Они уже не глядели на остров, хотя его ледяной блеск в багрянце заката был ослепительнее, чем когда-либо прежде. Они не глядели, ибо знали правду, голую, мрачную, гнетущую правду: далекий сказочный остров оказался всего лишь безобразной, изрытой бурями, жалкой каменистой пустыней. Там были только обычная земля и камни, самые обыкновенные камни и земля — точно такая же, как та, по которой они каждый день ступали своими ногами, даже немного хуже, более суровая и более бедная. И лес на острове состоял из самых обычных деревьев, из обыкновенных сосен, высоких коричневых стволов, высившихся среди камней, со скрюченными, поломанными бурей сучьями.

Нет, больше они не захотят смотреть на остров. Ни сегодня, ни в другие дни — никогда, пусть жизнь и стала вдруг гораздо более серой, скучной и ничемной.

В этот вечер они тихо плакали в своих постелях тайком от родителей и даже друг от друга. Плакали, не умея ответить себе, почему им так тяжело и почему не приходит сон.



## Пасьяно

— Вот так, Муррэ, теперь у нас есть кофе и булка, впереди тихий, спокойный вечер, и роман есть, чтобы почитать. Нет ни головной боли, ни угрызений совести. Вот и тебе, Муррэ, немножко кофе и сливок. Пей, пей, это же тебе пойдет на пользу. Возьму-ка я роман и начну его помаленьку читать, попивая кофе.

А-а... вот как... это, значит, что-то современное... Господи боже, о чем же тут говорится-то. Ну и ну, только ругаются да непристойности отпускают... Ну уж нет, такого я читать не буду. Куда это мои карты пасьянсные запропалились? Доктор сказал, что их надо сжечь, что от них, мол, один только вред, они плохо влияют на мое состояние. А что это за состояние у меня? Все в порядке, прошлого не вспоминаю, о будущем не думаю. Сын, Юсси, уплатил за квартиру, на еду в моем возрасте надо так немного, что пенсии вполне хватит. А на вино ее и не должно хватать — это-то я уж понимаю, Муррэ. Ведь я начала новую жизнь, так сказать, спокойную старость. Но пасьянс-то раскладывать у меня, наверное, осталось право, а? Ну-ну, Муррэ, один только пасьянс, не ворчи там.

Одна-две-три-четыре, одна-две-три-четыре. Ох, нечистая сила, сколько тузов-то вниз ложится. Одна-две-три-четыре. Да ведь этак все пойдет прахом. Одна-две-три-четыре. Короли, конечно, сверху. Почему это так получается, Муррэ? У некоторых людей жизнь с самого начала идет как бы шиворот-навыворот и не удастся, совсем как этот пасьянс. И тузы есть, с которых можно было бы начать, и ты видишь их, но они так расположились, что за них никак не ухватишься. Одна-две-три-

четыре. Так и с бедностью бывает. Не с настоящей бедностью, а с той, что норовит все вокруг да около богатства крутиться, и видит она это самое богатство, да никак его схватить не может. Плохи, плохи дела. Одна-две-три-четыре. Ничего не выйдет, по началу уже видно. Если я переложу эту даму на этого королька, то закрою весь ряд. Туз-то там внизу. Не годится. А здесь дама закроет тот ряд, где две двойки, — тоже важные карты. Вот опять туз неудачно лег между королем и дамой... Стоит ли начинать, когда у тебя такое чувство, что из этого ничего не получится... Эти карточные очки смотрят на меня так злорадно и холодно... словно чело-вечи глаза.

Красные глаза, от слез красные, черные глаза, от ненависти черные... Господи боже, что это я бормочу? Уж не нашло ли на меня опять? Но я ведь ни одной капельки не выпила. Послушай-ка, Муррэ, там в кухонном шкафу припрятана бутылочка... Она там только потому, что я могу обойтись и без нее. Я до нее и не дотронусь вовсе. Ну, а теперь разложу-ка я новый пасьянс.

Одна-две-три-четыре, одна-две-три-четыре... Ну, а вот разве лучше? Вечно меня преследует плохое начало. Крупные наверху, мелкие — внизу, все наыворот. Как же быть? Нужно бороться, чтобы начиналось все так же хорошо, как и у других, которым все в жизни достается как бы готовеньким? Нет, не буду я бороться. Вот опять черная дама пик, Майя черная, снова она преследует меня. Черная, тощая и злая, как моя тетка, которая частенько стегала меня ремнем, и рожа у нее — что твоя доска, широкая и плоская, точно луна на небе, полная луна... Я орала что было мочи, извивалась, стараясь оказаться к ней лицом, молила о прощении. Но она не прощала, у той круглой и безжизненной рожи не было сердца. Конечно, она, может быть, по-своему желала добра, только добра, Муррэ, я ничего не говорю, она, может, хотела человека из меня сделать, но она меня не понимала. Не понимала она меня, нет, нет. Да и никто не понимал, если на то пошло... Вот так-то оно и получается: всегда на дороге у меня кто-нибудь стоит — то трефовый валет, то пиковая дама, ляжет карта на такое место, что ничего с ней не поделаешь. Некуда ее переставить, да и терпения нет ждать,

чтоб освободилось местечко, а если начнешь строить на неправильную карту, то опять все прахом пойдет...

Да, Муррэ, от такого пасьянса одни только мрачные думы появляются. Доктор, кажется, был прав. Но если не раскладывать пасьянсы, так чем же мне тогда заниматься? Вот маленький глоточек был бы очень кстати, он и согрел бы, и радостные мысли принес. А вдруг хвачу лишнего? Нет, не стоит. Сын, Юсси, рассердится да еще отправит в сумасшедший дом. А там скучно. Я никогда не выносила скуки, этих унылых людей с рыбьими глазами, которые знают все жизненные правила и строго следуют им. Таких я часто встречала. Ну, а теперь начну-ка я еще разок. Пасьянс не виноват, коли я впадаю в мрачные раздумья. Да, да, разложу еще пасьянсик.

Одна-две-три-четыре, одна-две-три-четыре... Посмотри-ка, Муррэ, теперь он пойдет. Вот это удачное начало! Одна-две-три-четыре. Тузов пока не видать, но скоро они появятся из колоды один за другим. Так и должно быть. Теперь положим поверх той десятки девяточку... поверх того королька даму... хорошо... вот так... а эта дама не годится для тройки. Ну, что ж, переложим-ка ее на время на того королька... Поглядим, что сейчас из колоды придет... Положим, пожалуй, валетика вон туда, восьмерку, десятку... прекрасно... Ох, нечистая сила, как было бы кстати пустое местечко. И надо же мне было положить сюда десятку — теперь хорошо бы переложить валетика. И убрать короля с конца ряда. Придется малость подумать. Вот если бы наперед знать... Да разве угадаешь будущее? Только ведьмам да гадалкам это удастся. А требуют от меня!.. И зачем? Разве можно наказывать человека за то, что он не может отгадать будущего и что он не знает наперед, что из колоды выйдет?

Нет, нет, не надо больше пасьянсов... Муррэ, мой славный песик, а не хлебнуть ли бабуся маленький глоточек? Совсем малюсенький. Это б ее утешило. Так трудно выносить одиночество. Может позвонить Юсси? Глупости, у Юсси полно своих дел. А жену его я просто не терплю. Она такая... да и презирает меня. По дурости своей презирает. Нечего во мне презирать. Я совсем одна... и... и кругом так темно. А в окно глядят они, эти скучные рыбы глаза, глядят с холодным любопыт-

ством... с потолка свисают веревки, это петли на шею, Муррэ... Муррэ, я хочу малюсенький глоточек. Больше не стану. Я же начала новую жизнь: буду выпивать только один глоток в вечер. Это меня только освежит и успокоит.

Ну вот, теперь все выглядит по-другому, Муррэ. Видишь, какой аккуратненький и малюсенький этот мой один-единственный глоточек. Я его выпью очень-очень медленно. И заодно разложу еще пасьянс. Вот если бы выпало хорошее начало. Тот, прежний доктор, он всегда говорил, пейте, мол, на здоровье свой глоточек и раскладывайте пасьянсы, сколько душе угодно, ведь у старух должна быть какая-то отрада. Почему Юсси запретил ходить к тому доктору, звонил ему сам и спорил с ним? Если бы мне к тому можно было ходить, то все было бы в порядке. Одна-две-три-четыре. Тот доктор понимал меня. Редкие люди понимают друг друга, Муррэ. Одна-две-три-четыре. Если б человеку можно было вот так же все начинать сначала. Но в жизни все устроено так глупо, что во второй раз уже не начнешь. Каким бы скверным ни был заход, приходится с первой раздачи доигрывать до конца. И карты вылезают из колоды чертовски медленно. Год-два — карта, год-два — карта. А когда карты подходят к концу, тут только видишь, что ничего не получилось, или сплошь пустые места, или до странности длинные ряды, бесполезные карты вверху, а важные снизу, так что их никогда не достать. И вот подумаю я, сколько же на свете глупых людей, у которых пасьянс разошелся легко и просто, их карты лежат аккуратненькими пачками, в правильном порядке, и недостает только одной, последней и самой важной карты — смерти, которая придет, чтоб смешать все карты, но тогда эти глупцы разлягутся в родовых могилах, так задрав нос, что просто — тьфу! Хорошо, что у меня есть вот это маленькое прозрачное утешение, которого те глупцы не понимают. Муррэ, твое здоровье! Эх, как легко стало... И чего ради я буду от этого отказываться?

Ну-у, Муррэ, не ворчи. Это уже правда, вторая. Но ведь первая была неполная. То-то вот. Неполная. А теперь хватит. Давай-ка еще пасьянстик. Одна-две-три-четыре. Ага-а, тузы снова полезли вниз. И не... надейтесь. Суну-ка я их обратно в колоду. В колоду, и

дело с концом. Выйдете, когда вас позовут. Не ворчи, Муррэ. Одно у меня утешение, и оно — вон в том маленьком стаканчике, да, да. Уф-ф! До чего опять хорошо стало... Юсси рассердится, ну и пусть его сердится... Нет, не-е-ет, Юсси никогда меня не понимал. Весь в отца пошел. Вяйне... мне не следовало бы вспоминать Вяйне. Только досада одна, как подумаю о нем. А в голову все равно лезут эти мысли... Вяйне, он был тоже с рыбьими глазами. Тетка моя обожала его, видно, одного поля ягоды были оба... Вяйне хромал. Это было для меня козырем: я иной раз, бывало, так поддену его, что он тут же затыкал свой рот. Ведь и я имею право говорить? Или это только право других? И Вяйне говорил без конца, что я плохая хозяйка и не умею готовить, что я бросаю его деньги на ветер. «А ты колченогий», — отвечала я... И тетка говорила... много и разного. То, что я потаскуха, она сказала еще тогда, когда мне было всего двенадцать. Я, мол, так и пялю глаза на мужчин, когда стою за прилавком. Не иначе, как совсем ненормальной старой девой была тетка. Но в ту пору ведь не было ненормальных, были только благочестивые...

А вот когда я высказала им, что я о них думаю, те двое, тетка и Вяйне, заперли меня в комнату за лавкой и объявили, что я рехнулась.

Ну, чего ты смотришь на меня, Муррэ, это же по-настоящему только вторая. Те были... неполные... неполные... те две. Одна-две-три-четыре... Н-нет, не рюмки, а карты. Один маленький пасьянстик, Муррэ... Они заперли меня и продолжали меня ругать. Я слышала это сквозь дверь и чувствовала их взгляд... взгляд рыбьих глаз... Тогда я стиснула зубы и сказала себе: погодите, я вам еще покажу. Не знаю... удалось ли мне?.. Жизнь шла... с Вяйне... Родилось двое детей... нет, нет, не двое. Только Юсси. Юсси жив, у него есть дети... есть все... Пасьянс Юсси... в порядке... или по крайней мере он так думает. Пусть думает... Пусть себе думает. Только как бы не обнаружил вдруг, что какая-нибудь важная карта осталась... совсем внизу. Юсси не знает... хотя бы бедности. От Вяйне остались... деньги... и ничего другого. Вяйне... колченогий, жалкий... повесился... Фу-у-у, мерзость! Зачем сосватал меня... Они с

теткой принудили меня, а я... я была совсем еще ребенком. Это тоже было подло... Вяйне стоял на моем пути... и тетка тоже... она завещала свои деньги Юсси, а не мне... Ну и что мне с того... Ах, эта старая ведьма... Она ненавидела меня... Но я им показала, я устроила им сладкую жизнь, Вяйне... и тетке... Уж я постаралась... после того как закалила свой характер... Самой злоязычной бабой города... меня называли, а Юсси слышал это и плакал, когда приходил из школы. Я всем рассказывала, какой мерзавец этот Вяйне... что он, мол, охотится за девочками, я говорила... и что это было... чудо, что у нас вообще были дети, хоть какие-то ребятки... И про тетку все узнали... ведь она сама... как-то в хорошем настроении... разболтала о себе... о своих... странностях старой девы... и о своих мечтах... хи-хи! И люди потешались над ней... А они возненавидели меня еще больше...

Одну рюмочку, Муррэ, а ты спи себе. Сон... самый верный друг. А я тут пасьянс раскладываю... да бормочу себе под нос... Старая совсем стала. Теперь я уже могу думать... и об Эйле... ох-хо-хо... о моей девочке... Какое это было счастье... когда она была жива. Она понимала меня...никогда не была заодно с ними... с теткой и с Вяйне... «Мама добрая» — говорила она. О-ох, нет, не буду плакать... но она умела так сказать: «Мама добрая»... Она была похожа на меня... У нее... туз был... и на самом правильном месте. Карта у нее шла хорошая... или сносная... достаток обещала... Да, чудесное было время... Я тоже становилась тогда... правильным... человеком. Все любили Эйлу... она всегда была услужливая, с малых лет... А потом... появился тот парень... О-ох, не могу я больше. Старая я... одинокая... Тот парень... «Ты ведь, Эйла, не была с тем парнем, правда?» — спросила я ее, вся дрожа от страха. «Была, — ответила она, моя девочка, — не могу без него, я люблю его». Да-а, вот оно что... Ей бы надо было выйти замуж... Но он был... тоже с рыбьими глазами... Начал настраивать Эйлу против меня... Ненавидел меня... мол, дурная слава идет обо мне... да и выпивала я иногда лишнее... А Вяйне он любил, этот негодяй... Он хотел, чтобы Эйла уехала из города... с ним... чтобы избавиться от меня. И девочка, моя девочка...

чуть не предала меня... чуть было не согласилась... не уехала...

Благодарение богу, что у меня есть вот это утешение... Я вмешалась... уж я ли не постою за свою девочку... Я долго готовилась... и наконец решилась... я надеялась, что Эйла полюбит другого... и получше... на что ребенку такой... с рыбьими глазами... Но хоть она... сделала... как я велела... послушалась... она не могла бороться до конца... она умерла... умерла...

Хорошо, что хуже не случилось... полиция и всякое... А эта тряпка, Вяйне... Противно вспомнить... пришел домой и хныкал: «Начнем сначала, все позабудем, простим друг другу». «Мне-то, во всяком случае, не о чем просить прощения...» — ответила я, а он разозлился. «Как так, не о чем? Ты посмотри на себя, злоязычная баба!» — «А твой язык злее, колченогий». — «Ты сгубила мою жизнь», — сказал он. «Сам ты ее сгубил, рохля...» Ну нет, не из-за того Вяйне убил себя, что я ему тогда наговорила. Он начал пить... этот болван... а потом под пьяную руку вздернул себя... на дереве... и правильно сделал... Не бойся, Муррэ, не забивайся в самый угол... подойди к бабусе... дай ей тебя погладить... Все хорошо... хорошо... И если Юсси заявится еще хоть раз и начнет ныть: «Мамаша, зачем ты пьешь? Неужели ты... несчастна?» — я ударю его... Все хорошо... деньги есть... кругом новенькие, блестящие вещи... Вещей я не трогаю... мне ведь немного надо... Я кое-что скопила... а Юсси не знает... этого мне хватит... до самой смерти... Смерть придет, а стопки-то карт и нет... она соберет перепутанные, лежащие не на своих местах карты... перетасует колоду снова... сдаст ее другому... и никогда... больше... мне... Это несправедливо... Моя колода была не та... кто-то вынул из нее какую-то важную карту...

Еще одну рюмочку... Скоро я засну... Я не виновата, нет... я хотела только добра... Юсси... приди... приди, помоги матери... здесь темно, и веревка свисает... Юсси... конечно, я твоих детей люблю... Я ничего не имела в виду плохого, когда сказала... что они... глупые... злые... нет, нет... Но если бы была жива Эйла... ее детки... бабушкины крошки... новая жизнь... сначала... Зачем... они заперли меня... и даже Эйла... даже она ушла за... дверь... и присоединилась к тем, остальным...

которые ненавидели меня... Меня оставили одну... разве это... моя вина... ведь есть же и у меня какое-то право... право защищаться... У Эйлы были такие курчавые... жесткие волосы... точно шерсть у собаки... Муррэ... Муррэ... он спит себе... Юсси... я... если б я могла... позвонить Юсси... нет... я заперта... они смотрят в окна... Муррэ... где рюмка... Муррэ... пасьянс... я хочу начать сначала... Муррэ... подойди... я не оттолкну, не ударю... я хочу начать...



**Ионнэ (Джон) Лампела в роли  
политического деятеля**

Ионнэ (Джон) Лампела проявил склонность к политической деятельности уже в годы войны. На вечерах «братьев по оружию» в доме шюцкора, в Рабочем доме станционного поселка и в народной школе деревни Луна он выступал с демонстрацией фокусов, а также своими словами излагал то, что по радио излагалось так называемыми «представителями рабочего движения». Исподволь протаскивал он во время выступлений и свою любимую идею о том, что, кроме большевизма, коммунизма и Москвы, необходимо уничтожить также евреев и масонов. По его понятиям, евреи разрубают мечами детей христиан, а масоны замуровывают в стену живых людей; а вместе они изобрели большевизм и коммунизм и заграбастали в свои руки мировой финансовый капитал, так что частное предпринимательство скоро увянет и отомрет. И тогда наступят хаос и страшная неразбериха.

Эти небылицы, равно как и фокусы, Ионнэ выучил в ту пору, когда он работал «на заводах Форда в городе Тийрпорне в штате Миссикан». (Ни с небылицами, ни с фокусами он не мог выступать у себя дома: детям так же надоело смотреть на фокусы, как хозяйке Лампела — слушать небылицы. «Хоть бы слова иностранные научился правильно выговаривать», — твердила она ему не раз.) Когда после окончания войны и в Луну стали доходить вести о фашистских концентрационных лагерях и газовых камерах, жена сказала Ионнэ, что, мол, надули тебя в твоём «Миссикане», — это же шайка Гитлера разрубала детей и замуровывала народ живьем и уничтожала ядовитыми газами. А ведь как будто германские господа фашисты вовсе не были евреями? На что Ионнэ ответил, что бабам мировой политики не понять и не местные ли коммунисты из

Рантахалме напичкали и его жену большевистской «пропокантой»?

После того как Джон Лампела 23/IX 1944 г. выступил в хлеву перед своей женой и новорожденным бычком примерно с такой же речью, какой Уинстон Черчилль 5/III 1946 г. блеснул перед своими американскими хозяевами в городе Фултоне штата Миссури, его политическая звезда стала быстро подниматься на небосклоне. Нет, не в глазах хозяйки Лампела и тем более не бычка, а местных «братьев по оружию», которые, правда, вступили в рабочее объединение. Как и Ионнэ, они называли себя теперь социал-демократами.

В 1948 г. звезда Ионнэ уже приближалась к зениту. И в ту пору его вознесло — сперва на крышу фургона для перевозки молока, принадлежавшего Кюля-Хюркки, а потом на ораторскую трибуну сейма.

Ионнэ Лампела был выдвинут кандидатом в депутаты от социал-демократической партии. Свою предвыборную речь в Луне он произнес, стоя на крыше молочного фургона Кюля-Хюркки.

В городе «Тийрпорне в штате Миссикан» речи политиканов передавались через громкоговорители, которые были установлены на автомашинах. Так было, когда на должность президента протаскивали Гувера. (Этот «Хуувер», которого все вспоминал Ионнэ, был для него политическим образцом: ведь он тоже, как будто, хотел уничтожить, кроме большевизма, коммунизма и Москвы, евреев и масонов.) Но Ионнэ заявил, что громкоговоритель ни к чему, у него и без того глотка выдержит. Такого же мнения были и слушатели. Жена покойного учителя воскресной школы, массажистка и знахарка, именуемая Ийваревой Хилмой, уверяла позднее, что еще и на следующий вечер у нее было заложено левое ухо. А телята Кюля-Хюркки, не успев Ионнэ докричать еще и третьей фразы, помчались от перекрестка дороги в поле и стояли там, дрожа, до самого конца его речи.

Отчет о предвыборном митинге для местной газеты таннеровцев Ионнэ написал сам. Секретарь редакции, его товарищ и единомышленник в партии и конкурент на выборах, поместил отчет в газету без всяких ис-

правлений. Этот отчет навеки закрепил за Ионнэ кличку «политический деятель». Вот что, в частности, было сказано в отчете:

«Еще долго после окончания митинга около кандидата в депутаты Ионнэ (Джона) Лампела хорошо известного как знающий политик и толковый земледелец не только в Луне но и в других местах страны кружила густая толпа оживленно говоря о международном направлении современной мировой политики в рамках западной демократии которая единственно может спасти маленькую Финляндию от коммунизма угрожая закрыть ее железным занавесом и поработить нас но мы скажем Довольно голосуя на этих выборах в сейм за своего надежного политика как оплот свободы и независимости который так же держит свое слово как маленькая Финляндия платит свой долг до последней марки великой Америке в которой наш кандидат в депутаты Джон (Ионнэ) Лампела как известно работал на заводах Фор-та в городе Тийрпорне в штате Миссикан (США) чтобы ознакомиться на месте прямо на деле как применять практические принципы полной демократии на благо малоимущего народа».

Ни в Луне, ни в других местах страны избиратели не оказали достаточного доверия Ионнэ (Джону) Лампеле. Это был чувствительный удар и для него и для его жены, которая заявила: очень, мол, сожалеет, так как она надеялась, что в те дни, когда там, в сейме, заседают, она будет избавлена по крайней мере от его болтовни. И раз, мол, он не попал на денежное место, то, видно, ей до самой смерти теперь не дожидаться нового зимнего пальто, — ведь даже на одежду для детей денег у них не хватает.

В качестве утешения идейные друзья наградили Ионнэ экскурсионной поездкой в столицу.

Во время посещения здания сейма Ионнэ забрался на ораторскую трибуну, выпрямился, сунул два пальца в промежуток между второй и третьей пуговицами жилета, гордо поднял подбородок на манер Юсси Лаппи-Сеппяля\* и погрузился в великие думы.

---

\* Ю. Лаппи-Сеппяля — общественный деятель Финляндии, член крайне правой Коалиционной партии.

На прошедших выборах Ионна (Джон) Лампела набрал восемьдесят семь голосов, то есть на два меньше, чем в предыдущий раз.

Старый Аапели предполагает, что хозяйка Лампела на этот раз голосовала за народных демократов\*. Второй утраченный голос принадлежал избирателю, который, правда, отметил в бюллетене кандидатский номер Ионна, но приписал такой совет: *«Катись обратно в свой Миссикан!»*

По поводу того, кто был этим советчиком, в Луне не достигнуто единодушия. Сам Ионна считает, что это написала Ийварева Хилма, его заклятый враг. Но заведующий магазином, который подсчитывал голоса, говорит, что Хилме никогда не написать таких четких букв.

Жена покойного учителя воскресной школы Ийвари, массажистка и знахарка Хилма, рассорилась с Ионна сразу, как только тот по указанию своих шефов из станционного поселка начал в Луне кампанию по распространению слухов.

«Ври-ка получше, коли врать решил, такому и сорока не поверит», — сказала ему Ийварева Хилма, когда он пустил слух, будто советских военнопленных, которые находились в их деревне, сразу по возвращении на родину расстреляли, а из лавок села в течение одной ночи перетаскали все ткани в поезд, следовавший в Москву.

«Ты что, смотреть ходил, как их расстреливали? — спросила Ийварева Хилма. — А что касается тканей, так они и сейчас еще под прилавком лежат. Не поздней как позавчера жена Кюля-Хюркки притащила оттуда среди бела дня полкуска хлопчатки и восемь метров чистой коричневой шерсти: из нее парнишкам сошьют костюмы и, если останется, сарафан девчонке. А угнали хоть одного человека отсюда в Сибирь? Вспомни-ка свои речи! В каждую избу ты ходил да проповедовал, что если мир будет заключен, то сразу всех нас туда и отправят. Девоч, мол, повезут в товарном вагоне, а старым бабам пешком придется идти, — не такие ли речи ты вел?»

\* Имеются в виду члены Демократического Союза народа Финляндии, в который входит и Коммунистическая партия.

Младший сержант запаса Палонен подозревает, что ссора между Ийваревой Хилмой и Ионнэ Лампела возникла как результат зависти: ведь раньше информационное агентство Хилмы пользовалось монополией.

«Я, будучи честной по своей натуре, ненавижу лгунов, — сказала Ийварева Хилма. — Разве я когда-нибудь распространяла ложь? Я говорю только то, что своими глазами видела или своими ушами слышала. Или слышала как истину от уважаемых людей. Не может же бедная вдова, да с такой профессией, прожить на этом свете, если она молчать будет! За свои слова мне ответ держать перед престолом всевышнего. Но поздно будет Ионнэ каяться, когда его за вранье станут поджаривать в огненном пекле!»

## Конкуро на „мисс Луну“

Когда павильон на Горелой Пустоши был построен, то на стене филиала Торгового предприятия «Арвид А. Руусунен и К<sup>о</sup>» появилось большое объявление на картоне. Сыновья Кюля-Хюркки намалевали на нем синим, красным и черным:

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК И ОСВЯЩЕНИЕ ПАВИЛЬОНА  
НА ГОРЕЛОЙ ПУСТОШИ!

*Громовой успех!  
Вним.! Вним.!*

БУДЕТ ИЗБРАНА „МИСС ЛУНА“

*Мастер смеха Джон Лампела покажет  
Миссиканские волшебные Трюки!  
Впервые*

*„Убийство в подвале (дух спирает  
от напряжения!)“*

*Сеанс верховой езды. Спортивные состязания  
и бег в мешке!*

СЮРПРИЗЫ

*Играют „Ритмические Парни“ и „Алабама Блю“  
из города.*

*Приходите выбирать „мисс Луну“!*

*Кто станет лунной красавицей?!*

Провести конкурс на «мисс Луну» предложила дочь лавочника Руусунена, которую ее-мать Лола (от рождения Лемпи Хянинен) нарекла именем Долли Синikka; в школе мальчишки переделали «Долли» в «Толло» \* и называли ее «Дурека Толло, Спящая Конфетная Красотка Руусунен».

Продавец Киннунен, носивший то же имя, что и выписываемый им журнал «Калле», загорелся этой идеей и начал развивать ее дальше. Он предложил провести конкурс не на Горелой Пустоши, а в молочном ряду напротив своей лавки. Там, убеждал он, уже готово возвышение, прилавок, а все «мисс» обязаны продемонстрировать себя публике в купальных костюмах именно с возвышения.

Калле Киннунена поддержал Ионнэ (Джон) Лампела: он собственными глазами видел настоящие конкурсы на титул «мисс такая-то» в пору, когда «изучал условия труда на заводах Форда в городе Тийрпорне штата Миссикан» (Ионнэ Лампела не говорил уже: «Когда я работал», а изрекал: «Когда я изучал условия труда...» На «изучение условий труда» он перешел, как только его коллег по партии стали пачками возить в Америку, на поклон и попрошайничество). При этом Ионнэ (Джон) Лампела добавил, что прилавок следует завесить звездными флагами. Не мешало бы прилепить также снимки кинозвезд; а кроме того, у них там нынче, кажется, служат украшением хорошенькие «пинап» и рекламы кока-колы.

Продавец Киннунен возразил, однако, что всякие «пинап» вызовут недовольство деревенских дам. Но рекламу кока-колы он поддержал. Завод напитков Торгового предприятия «Арвид А. Руусунен и К<sup>о</sup>» собирался выпустить новый вид портера. Его решили было назвать «Сэм-кола». Но разве «Мисс-кола» не лучше? Конечно, да! Звездный флаг на прилавке должен быть украшен рекламой «Мисс-колы»!

Жена учителя народной школы не поддержала идею звездного флага. Против купального костюма она восстала категорически, ибо ее дочери уже было сшито белое нарядное платье. И к тому же это непристойно —

\* В переводе означает «болван, дурак».

семенить посреди деревни в одном купальнике, да еще по молочному ряду! Пусть от конкурса, говорила она, повеет родным, национальным духом, хотя его идея и пришла сюда из большого мира. Молочный прилавок будет покрыт синим картоном и украшен можжевельными гирляндами и белыми луговыми цветами. Девушки в белых нарядах поднимутся на возвышение, а в это время оркестр будет играть «Я помню летний вечер» и другие финские народные песни. На кудрях у девушек будут васильковые венки — пусть красавец василек станет нашим национальным цветком! Грустно подумать, что даже по этому вопросу мы еще не достигли единодушия: разногласие является нашим национальным пороком... (Еще будучи семинаристкой, жена учителя народной школы принимала горячее участие во всефинляндском диспуте о национальном цветке. В отделе «Письма читателей» был опубликован целый ряд ее заметок в пользу красавца василька.)

Селма Кюля-Хюркки возражала против белого ряда и василькового венка: ее дочери было шито светло-зеленое платье. Кроме того, реденькие волоски Хилкки не имели вида, даже если их взлохматить, а тут их еще приплюснут венком!..

Учительница начальной школы возражала против синего картона: для синего наряда племянницы местного начальника, жениха учительницы, был невыгоден такой фон.

Идею купального костюма поддержала только жена лавочника Лола Руусунен, поскольку для Долли Синикки был специально выписан из столицы шелковый купальный костюм «Бикини». Но против молочного ряда она выступила категорически: Долли Синикка была слегка кривонога, и это могло всплыть, если красавицам придется взбираться на этакый помост. Прилавок! И кто только не постыдился его предложить? Разве молодые девушки — бидоны, чтобы их ворочали на прилавке?! Нет, конкурс нужно провести на танцевальной площадке Горелой Пустоши. Там же ведь, если помнится, проводился и тот скандальный конкурс, на котором Долли Синикка осталась без премии из-за интриг супруги аптекаря и, как поговаривают, еще некоторых злонравных особ. При этом Лола Руусунен выразительно посмотрела на Селму Кюля-Хюркки.

Селма Кюля-Хюркки сказала в ответ, что трудно понять, как только мать, мать своей дочери может согласиться на то, чтоб ее взрослое дитя разделось до полунага на глазах у посторонних. Правда, о нравах ресторана при гостинице рассказывают всякое, поговаривают, что там танцуют даже гол... м-м, в довольно легких одеждах на столе перед господами. Но ведь то не порядочные женщины!.. Кроме того, конкурс устраивается в Луне, «в нашей собственной Луне», так что все участницы должны быть лунчанками. А господа Руусунены проживают в селе, и оттого, что в Луне имеется филиал их лавки, дочь Руусуненов Долли Синикка не стала лунчанкою. «А от лавки, кстати сказать, моему мужу одни только убытки, поскольку некоторые умеют интриговать за спиной у других».

На сторону купального костюма охотно встала бы и Майра Мауконен с бедняцкой окрайны деревни: это был, пожалуй, единственный наряд, на который у них в семье хватило бы средств. Но Мауконен-мама не защищала интересы своей дочери на заседании комиссии. А дома, в ветхой избушке, она сказала Майре, что, мол, только сунься на конкурс — бита будешь. Остатки стыда, мол, потеряли и матери и их дочери! Если не найдешь себе мужа без того, чтоб выставять себя на показ, так благодари судьбу; а ежели он повстречается тебе иначе, без всяких там конкурсов, — значит, такова уж твоя судьба. Да спешить-то нечего, успеешь еще повоевать с бедностью и оравой ребятни, помни, на твою долю не хватит королевских сынков да дипломатов, портреты которых только и знай печатают в твоих журналах...

Конкурс на «мисс Луну» провалился. Не из-за разногласий по поводу молочного ряда, купального костюма или венка. Не потому, что «Ритмические Парни» и «Алабама Блю» не могли сыграть ни одной финской народной песни. Не из-за гнева бывшей служащей почты пенсионерки Сигне Пеларгонius и не из-за иронии жителей Рантахалме, которые во всеуслышание заявляли, что некоторые лунчане, с похвальным рвением несколько лет назад ползавшие на коленях перед немецким «братом по оружию», теперь пытаются превра-



тить исконно национальную Луну в колонию Дикого Запада. Конкурс провалился даже не вследствие намерков старого Аапели на то, что, мол, для спектакля сыновей Кюля-Хюркки больше подошло бы название «Убийства в песчаных ямах в 1918 году» \*. И не из-за пророчества Ийваревой Хилмы, что не иначе, как перед Страшным судом на Кровавой Пустоши готовят Вавилон, Содом и Гоморру: ведь там дочери лавочников и прочие отпрыски почтенных родителей собираются показывать голое тело за плату в сто марок! А ведь даже в школах обучались...

Из программы освящения павильона на Горелой Пустоши конкурс на «мисс Луну» вычеркнул сам перст судьбы, который вывел угольком на объявлении маленький стишок.

Когда лунчане погожим воскресным утром проходили мимо перекрестка, на объявлении они могли прочитать:

Мисс Кис-Кис  
В подойник...

Лунчане смеялись. Особенно весело смеялись на бедняцкой окраине Луны, в Рантахалме и в Талвинитту, а также в доме пенсионерки Сигне Пеларгониус. Но и в домах покрупнее все чуть не прыскали со смеху. Люди смеялись и высказывали подозрение, что перстом судьбы является мальчишка озорник Олли Палонен. Тот категорически отнекивался и улыбался торжествующе.

## **Бараньи головы**

За две недели до последних парламентских выборов металлист Салминен получил пригласительное письмо. Господина Калле Ю. Салминена с супругой приглашали в густавианский кабинет отеля «Ярл Биргер» на совещание по учреждению фамильного общества рода Лампаанпя (то бишь Бараньеголовых).

---

\* Намек на разгул белого террора в Финляндии после поражения революции 1918 года.

Металлист Салминен смутно припоминал, что рассказывал покойный дедушка о родовом поместье Бараньеголовых, владеец которого якобы приходился дальним родственником покойной матери покойного дедушки и где он в свое время был мальчиком на побегушках. Покойная бабушка всегда выгоняла малышей во двор, как только дедушка начинал свои воспоминания: свою любовь к родственникам он изливал в таких выражениях, что бабушка считала их неподходящими для детских ушей.

Металлист Калле Салминен и его супруга Анна Салминен (которая называет себя Салминеншей в отличие от всех прочих мадам Салминен) облачились в праздничные одежды и отправились ко двору Ярла Биргера.

В густавианском кабинете было полно народу; там хватало и Ниеминенов и Виртаненов, Мякиненов, Нюстремов и Руусу, Лахти, Салми и Саариненов, Ярвиненов, Йокиненов и, уж конечно, Бараньеголовых. Были Верхние, Нижние, Большие и Малые Бараньи Головы, были просто Бараньи Головы; имелись также коммерции советница Бараньеголовая-Берг, мастер художественного слова Бараньеголовая-Руусунхеймо и несколько барышень Шенберг-Бараньеголовые.

Металлист Салминен сказал, что в общем приятно познакомиться с родственниками, раз уж не виделись раньше, на что супруга мясника Мари Бараньеголовая прошебетала: «Да, правда, в самом деле», — и, притиснувшись к нему, принялась выпрашивать:

— Это вы и есть инженер из Тампере? Так вы же мой троюродный братец!

— Металлист я, — сказал Салминен.

— Ах, вот как, в самом деле? Но, значит, все-таки по технической части! Я обожаю технику! — призналась супруга мясника Мари Бараньеголовая, бросая полный обожания взгляд на металлиста Салминена, который был мужчина хоть куда.

Новичкам были розданы проспекты, где освещались успехи, достигнутые в изучении родословной. У металлиста Салминена вырвалось: «Да я, оказывается, чертовски знатного рода!» Это услышала только супруга мясника Мари Бараньеголовая, которая засмеялась, погрозила Салминену пальчиком и сказала:

— Ай, ай, уж эти мне техники! Как грубо они выражаются. Да, да! В самом деле.

Кроме родоначальника, арендатора, а затем, после женитьбы, свободного крестьянина Матти Адольфа Бараньеголового (умер в 1801 году), в роду было много высокопоставленных чиновников, как-то: начальники станций, тюремные надзиратели, один начальник тюрьмы, шесть полицейских, один профессор и целая куча магистров и учителей народных школ; военное сословие, светское и духовное представляли один полковник, два капитана, два фельдфебеля и один майор Армии спасения; было представлено и торговое сословие от коммерции советников до коммивояжеров и приказчиков; в роду были директора банков и прочие носители громких титулов: «экономы», «социомы» и «логомы» (последних только один представитель: мастер художественного слова Бараньеголовая-Руусунхеймо). Уже в самом начале вечера у Салминена и Салминенши головы пошли кругом от колен, прямо нисходящих, колен, отклоняющихся в сторону, и колен, образованных в результате браков. Ко всему прочему Салминена смущало колено супруги мясника Мари Бараньеголовой, которое терлось о его колено: «Ай, я думала, что это ножка стола, ой, ой, правда, в самом деле...»

Тремя кульминационными точками вечера были:

1) речь, которую, когда подали жаркое, произнес вице-председатель уездного суда Ю. В. Малая Баранья Голова о славном прошлом и великом будущем рода Бараньеголовых и о жизненной необходимости организации фамильного общества, особенно если иметь в виду обязанности, которые предстоящие парламентские выборы налагают на каждого сознательного гражданина. Не желая переходить на личности и рекомендовать ту или иную кандидатуру, Ю. В. Малая Баранья Голова напомнил все же, что два члена этого славного рода, оба уважаемые, заслуженные граждане, целью жизни которых является благо всего народа, в настоящее время вступают кандидатами на трудный, требующий жертв пост представителя народа — один от коалиционной, другой от народной партии (рекламные листки кандидатов были розданы за кофе);

2) открытия, которые мастер художественного слова «логомом» Аделе Бараньеголовая-Руусунхеймо

сделала относительно голубой крови, просочившейся в род Бараньеголовых. Дело было в том, что граф Лильсванс, придворный кавалер шведского короля, сто лет назад имел роман с прекрасной Марьяной, дочерью крестьянина Бараньеголового, и сын, родившийся от этого морганатического брака, был назван в честь отца — Пер Улуф;

3) счет за ужин, для оплаты которого до дна очистили бумажник Салминена и сумочку Салминенши. После этого в семье Салминена целую неделю ели только селедку с картофелем.

Зато однажды утром, когда металлист Салминен вернулся с ночной смены, Пекка Салминен (9 лет) скомандовал шумевшим под окном ребятишкам: «Тихо, Салминен спит. Он у нас дворянского рода».

Летом металлист Салминен работал в Хяменлинна и вместе с Салминеншей вновь посетил собрание рода Бараньеголовых, которое было проведено в палатке в окрестностях города. Палатка была разбита на пустоши, где когда-то было хозяйство родоначальника рода — Матти Адольфа Бараньеголового. Родовое поместье было утрачено еще восемьдесят лет назад — его купил немец-сыровар из соседней деревни. Сын этого сыровара стал знаменитым финским егерским генералом; Бараньи Головы считали его почти родственником, хотя отставной генерал не пустил участников собрания дальше садовой калитки, когда те явились полюбоваться поместьем и его знаменитым розарием. Немецкая овчарка генерала чуть не откусила нос «эконому» Айри Бараньеголовой, а у мадемуазель и в мыслях не было воровать розы, она хотела только через щелку забора сорвать на память малюсенькую веточку.

После того как на могилу свободного крестьянина Матти Бараньеголового был возложен венок и выступили артисты — представители рода, настала очередь Мари Лампаанпя-Орловой-ван-Эден. Мастер художественного слова Аделе Бараньеголовая-Руусунхеймо представила ее:

— Наша дорогая тетушка Мари, космополит из рода Бараньеголовых, несмотря на свои семьдесят восемь лет, снова прилетела к нам из Голландии. Сейчас она выступит со своими воспоминаниями.

Мари Лампаанпя-Орлову-ван-Эден вместе со стулом подняли на трибуну. Перебирая бархотку с застежкой «под золото», она заговорила мощным басом:

— Все мои драгоценности остались в Петербурге. Мой муж, кавалергард Орлов, был коротко знаком с русским императором. А с немецким императором Вильгельмом я родилась в один день — двадцать седьмого января. Первой супругой императора Вильгельма была принцесса Шлезвиг-Гольштейнская Августа-Виктория, от этого брака родилось шесть сыновей и одна дочь. Второй его супругой была принцесса Прусская Гермина, вдова принца Шене-Кароля. Я горько плакала, когда видела, как император Вильгельм колол дрова во дворе замка Хюис Доорн. Этот замок император купил в Голландии, а сперва он жил в замке Амеронген. Мой муж, фабрикант ван-Эден, был коротко знаком с Вильгельмом, сыном императора Вильгельма; его женой была герцогиня Мекленбург-Шверин Цецилия. У них было шестеро детей; их сын женился на Кире, дочери великого князя Кирилла. Мой муж, кавалергард Орлов, был близко знаком с великим князем Кириллом. Там, в Амстердаме, у меня четыре комнаты внизу и три комнаты наверху. Император Вильгельм был большим другом Финляндии. С императором Вильгельмом я родилась в один день, двадцать седьмого января. А генерал Маннергейм умер двадцать восьмого января. Мой муж, кавалергард Орлов, был коротко знаком с генералом Маннергеймом.

— Ай, какая *intressant*\* эта старая дама! Правда, в самом деле! — шепнула супруга мясника Мари Бараньеголовая металлиту Салминену, которого снова смущало ее колено.

Салминенша бросила на нее суровый взгляд. Мари приняла колено, в одну секунду определила, сколько стоит платье Салминенши и где оно куплено, и спросила:

— Ах, госпожа Салминен, простите, я забыла, вы ведь эконом?

— Нет, я мусороном, — ответила Салминенша.

— Ах, мусороном... В какой же области вы творите?

— Я не творю, я работаю, — сказала Салминенша. — Я уборщица, мусор выметаю. Мусороном, значит.

— Ай... да, да, в самом деле...

---

\* *Intressant* — интересная (швед.).

## Дорога к просвещению

В такой унылый осенний день, когда дым из труб расстилается по самой земле, человеку, стоящему у окна, нелегко заметить что-нибудь, что порадовало бы глаз. Бесконечная, плоская, как стол, равнина навеивает тоску. Опушка леса, видневшаяся вдали, исчезла за дождевой завесой; куда ни кинешь взгляд — повсюду лишь увядшее жнивье, серые сараи-развалюхи да кое-где выступает окрашенный красной охрой жилой дом. И на все это опускается мелкий морозящий дождь... Мысль рвется ввысь, она жаждет взлететь, но ее тут же что-то давит оземь. Человеку, стоящему у окна, остается одно утешение: злорадное сознание того, что все живое на этой широкой равнине также находится под гнетом сумрачной природы.

В такие минуты особенно остро чувствуешь, что такое, по сути, финн. Это существо, которое, по-своему привыкнув к окружающей его серой мгле, с дьявольским упорством рыхлит мотыгой скудную землю, надеясь выжать из нее если не благосостояние, то хотя бы кусок хлеба на пропитание. Даже эти дождливые сумерки приносят с собой какое-то ощущение покоя и уверенности. Когда же стоит ясная погода, человек склонен вообразить, будто отечество — единый коллектив, в котором граждане, подобно усердным муравьям, непрестанно трудятся на благо всего общества. Мгла освобождает человека от этого миража. Словно плотной стеной, отделяет она людей друг от друга, замыкая каждого на его клочке земли, и заставляет вспомнить о том, что в этой суровой стране каждый старается в одиночку — хочет он того или нет. Эта мысль может показаться неприятной, но ничего не поделаешь, такова

истина. А знание истины порою радует — не так ли? Человек, стоящий у окна, знает, что и в этом тумане, и там, где его нет, жизнь идет своим чередом. По многим тропам к родным домишкам движутся мужчины-кормильцы — их ждут там не дождутся. Из всех щелей бани уже пробиваются клубы дыма, малыши все глаза проглядели, сидя у окна в избе: когда же из леса появится их отец? С мешком за плечами или нет?.. «Изба да жена, — сказал как-то один мудрый старик из Халлы, — вот оно, отечество финского мужика». Без сомнения, эти несколько слов заключают в себе куда больше жизненной правды, чем все торжественные речи, — однако эта простая истина остается вне понимания некоторых господ. Как, впрочем, и многое другое...

Итак, кругом все серо, сумрачно и грустно. Финский осенний день. Придумать себе занятие трудно, и человеку, стоящему у окна, остается лишь дать волю черным мыслям и «любоваться» туманами и унылыми пейзажами, которых, хвала творцу, на этих географических широтах предостаточно. Он волен даже вообразить, что его гнетущее настроение не что иное, как теплая шуба, в которую можно закутаться, чтоб отогреть свою мерзнувшую душу...

За стеной идет урок, там в головы детей снова вдалбливают знания по истории. Это народная школа. Принято говорить, что школа дает людям свет просвещения, который «жжет и будит»... Из этой школы тоже вылетело уже немало искр света просвещения; они разлетелись во все стороны, к опушке леса и еще дальше... Слышно, как звонкий мальчишеский голос изрекает чистейшую ложь о том, будто бы финские солдаты, ведомые своим благочестивым королем, с большим энтузиазмом сражались в Германии за свою лютеранскую веру... Если не хотите, можете не слушать — воля ваша. А если и послушаете, вряд ли эта красивая ложь надолго оставит след в вашей душе. Слышно, как Хилма (сама она на местный лад именует себя «Хилима») возится в кухне, приготовляя кофе. Значит, скоро подадут сию жидкость, и за столом можно будет поспорить с учителем, этим «светоочем народа», о бессмысленности преподавания истории: по не вполне понятной причине его беседы с учителем частенько превращаются в спор.

Вот скрипнула кухонная дверь. Кто это может быть?.. А, не все ли равно, кто пришел. Меня это, во всяком случае, не касается. Здесь нет никого, кто в такую погоду, оставив ради меня все свои дела, отправился бы поболтать со мной.

Но тут мрачная пелена в моей душе начинает рваться, будто по ней полоснули ножом. Сердитый, резкий голос какой-то женщины говорит Хилиме:

— Дело, значит, обстоит так, что школу мы не бросим! Скорее у меня шея сломается, чем я от слова своего отступлюсь!

В ее голосе звучат воинственные нотки. Ох, не к добру злить Ловийсу Юлалуома! Сейчас она просто в ярости. У Ловийсы есть девятилетний сын. Как он появился на свет, никто не знает, но он существует, и это факт. Итак, есть мальчик, есть школа, но нет обуви. Не хватило для него «подарков», что прислала Америка. А вообще справедливо ли распределяются дары? У Ловийсы на этот счет своя точка зрения, которую не изменишь никакими высокопарными речами. К тому же Ловийса привыкла выражать свои мысли без обиняков. И когда она говорит о себе: «Ну и баба!» — эти слова обретают в ее устах прямо-таки торжественное звучание. Так и кажется, что она сейчас вскочит с места да как подпрыгнет да взмахнет юбками: «Ловкая же я баба, черт возьми! Но зловредная! А ну, посмей только кто-нибудь возразить мне!»

Благодаря своему упрямству, «зловредности» Ловийса и пробивает себе дорогу. Смотришь на нее и думаешь: лучше эту женщину не трогай — иначе тебе несдобровать!

Вот и сейчас она громко говорит Хилиме:

— До чего иногда хочется этому социальному секретарю съездить по морде!

Общинного секретаря по социальному обеспечению Ловийса считает своим личным врагом. Не дал ее парню обуви, хотя она и просила, и втолковывала ему, что ведь не может ребенок всю зиму ходить босиком. Но секретарь, человек в деревне новый, только пробурчал в ответ что-то вроде: «Не будет ходить в школу? Эка важность, не умрет без учебы. Если все дело в обуви, пусть мальчишка посидит пока дома на лежанке да по-



дождет следующей партии посылок». Вот тут Ловийса подскочила к «социальному секретарю» и, размахивая перед его носом кулаком, поклялась:

— Нет уж, школу мы не бросим! Ты не можешь дать обуви — что ж, баба потаскает сына на собственной спине! У тебя нет сил помочь — у нее силенок хватит!

И Ловийса бросилась к двери, грозно заявив напоследок, что с ее стороны эта просьба была первой и последней.

А наутро многие могли наблюдать необычную картину, глубоко взволновавшую даже самых равнодушных: по грязной осенней дороге в сторону школы решительно шагает небольшого роста женщина с мальчиком на спине... Это зрелище хватало за душу, в памяти невольно возникали страницы из истории финского народа. Хотя и не стоило бы, пожалуй, постоянно напоминать о наших Микаэлях, Элиасах и Алексисах\*, но сколько же простых людей получило в стране Суоми образование только благодаря упрямому нраву их матерей! Конечно, не все они таскали детей в школу на спине, но любая из них сберегала для своего ребенка каждый пенни, утаивала то кусочек масла, то мяса от мужа, косо смотревшего на учение. Это требовало упорства не меньше, чем любой труд. Но так прокладывалась тропа к широкой дороге. Не известно, может, эта дорога не так уж широка, но все же она очищена от самых больших валунов.

Почему образы этих женщин не поднимают из мрака на свет, почему их не покажут всем? А газеты знай печатают снимки то какой-нибудь графини, то кинозвезды, которая под наркозом произвела на свет младенца или самое большее — двух, а потом ей только и дела, что позировать в сиянии своего материнства. И такие снимки преподносят простому народу, чтоб тот глазел и восторгался, хотя у него самого в избытке найдется женщин, достойных восхищения.

Вот что приходит мне на ум, когда по окончании уроков я стою у окна, гляжу на дорогу и жду зрелища,

---

\* Имеются в виду Микаэль Агрикола, Элиас Леннрот и Алексис Киви, крупные деятели в истории финской культуры, жившие в большой бедности.

которое не перестает потрясать меня. Наконец появляется Ловийса, неся на спине мальчишку. Он делает веселые гримасы, а вокруг прыгает толпа детей и, потешаясь над ними, вспоминает притчу о женихе, который едет на ослице. Но, похоже, это ничуть не смущает Ловийсу. Выйдя за ворота, она сворачивает на луг. Ее шаг тверд, ибо Ловийса привыкла носить тяжести и побольше, чем девятилетний мальчик. Нет, под таким грузом она не упадет, не беспокойтесь, — ведь те, чья жизнь может сломить легко, относятся к иной породе!..

Я стою и гляжу. Я ни о чем не думаю, теперь не время для дум: в душу врезается образ финской женщины, простой бабы, он останется там до конца моей жизни. И каждый раз, когда мне будет угрожать излишняя мягкотелость, этот образ поднимется из глубин души. И тогда Ловийса заговорит со мной своим сердитым, с воинственными нотками голосом...

## Тучи

Однажды в конце весны восход солнца был особенно красив. Это отметили многие жители маленькой захолустной деревеньки Пюэртэн. После долгой зимы такой восход обещал многое: хорошее лето с теплыми дождями и ясными погожими деньками, а стало быть — и обильный урожай. Сейчас же, в эти последние дни весны, людям, живущим дарами земли, осталось только посадить картофель. При такой погоде посадка картофеля пойдет просто играючи. Итак, можно было снова глядеть в будущее: оно как будто обещало быть радостным.

И все же в деревеньке нашелся человек, который даже в этом ярком утреннем сиянии видел только дурное, зловещее. То был деревенский сапожник Сийсконен, высокий мужчина с грустными глазами. Благородная пропорциональность черт его лица у всех окружающих вызывала удивление и восхищение, но порой и раздражение. Правда, несколько десятков лет назад утонченность его лица возбуждала только восхищение, по крайней мере у представительниц прекрасной половины

рода человеческого. Среди бесконечного однообразия тяжелых трудовых будней тихий Сийсконен с его красивым лицом и печальными глазами казался женщинам глухой лесной деревушки пришельцем из другого, светлого и прекрасного мира. Многие девицы просто изнывали от неодолимого желания удалить с его чела грусть. В ту пору Сийсконен был молод, и не одной девице предоставил он такую возможность. Однако лицо сапожника от этого не становилось веселее. Правда, к чести его надо сказать, что и сам он не оставлял плачущих по себе очей.

В конце концов одна кругленькая, маленькая и неугомонная резвушка закрепила за собой обязанность рассеивать печаль его прекрасных глаз. И вот прошло почти двадцать лет супружеской жизни, а Сийсконен был все так же утонченно грустен, и жена все так же беспечно весела и резва — несмотря на то, что жизненный путь их, по крайней мере в материальном отношении, отнюдь не был усыпан розами.

Сегодня, в это почти летнее утро, Сийсконен был на удивление мрачен и, то и дело поглядывая в окно, изрекал:

— Тучи сгущаются... Так и есть, тучи...

У жены не было ни времени, ни охоты слушать мужа — она без устали возилась со своим вещевым мешком и не давала ему возможности облегчить душу. Это выводило из себя и без того вспыльчивого Сийсконена. «Когда эта женщина избавится наконец от ребячества?!» — в раздражении думал он. Сосредоточив мысли на этой черте характера жены, Сийсконен громко засопел: он совершенно забыл, что именно это качество больше всего и нравилось ему. «Опять сборы! Каждое лето одно и то же!» Жена была родом из деревни, расположенной в сорока километрах от их дома. Сийсконен не видел там ничего привлекательного: серые, невзрачные домики глухой деревушки — вот и все! Но каждый год в начале лета его женой овладевала нестерпимая тоска по родному уголку. Ей во что бы то ни стало нужно там побывать. И, вся во власти этого желания, она даже не задумывалась над тем, что муж остается один, без ухода и внимания, которых он даже по закону вправе требовать от жены... Что за жизнь у мужчины без жены, тут много и рассуждать нечего. Он

по прошлому опыту слишком хорошо знал, какой без-  
божной скукой является такая жизнь, какая тоскливая  
пустота окружает тогда человека. Но стоит, как это ни  
странно, появиться ласковым, веселым глазам такой вот  
маленькой женщины, и ты снова чувствуешь уют и теп-  
ло домашнего очага. И что в этой женщине особен-  
ного?.. Если подумать, так она ничем не отличается от  
остальных деревенских баб. Но он, Сийсконен, не мог,  
казалось, даже дышать, если поблизости не слышался ее  
голос.

Муж стоял у окна, повернувшись спиной к комнате.  
Глаза его следили, как наступает благодатное утро, а  
на душе в то же время становилось все мрачнее и мрач-  
нее.

— Только болван уходит в такую погоду из дому,  
точно бродячий цыган какой, — в сердцах проговорил он.

В избе все так и сверкало чистотой — вчера весь  
день жена мыла и убирала, — но сейчас даже чистота  
раздражала мужа. Жена его всегда следит за порядком  
в доме, но никогда она так не старается, как перед ухо-  
дом. Даже цветы на подоконнике вызывали в нем  
злость.

Жена все еще возилась у печки, укладывала прови-  
зию в мешок и, видимо, не расслышав слов мужа, отве-  
тила наугад:

— Да, да, так люди говорят. А кто знает, правда  
это или нет?

— Что ж, врут они, что ли? — вконец рассердился  
Сийсконен.

— Да, пожалуй, и в самом деле правда, — охотно  
согласилась жена.

— И какая нечистая сила гонит тебя под такой  
дождь?

— Дождь? Не болтай зря. Вон утро-то какое ясное!  
Только сейчас жена сообразила, что речь идет о ней  
самой.

— Все равно будет дождь! — упрямо твердил Сий-  
сконен.

— Может быть, — согласилась жена, завязывая ме-  
шок. — Ну и что ж такого? Зайду в чью-нибудь избу  
обсушиться, если здорово промокну. Пирожков я много  
напекла, думаю, что вам хватит. А ты постарайся усми-  
рить свой нрав да не слишком брани ребенка.

Сийсконен, конечно, понял, что жена закончила сборы и теперь ждет, чтобы муж повернулся к ней попрощаться. «Ничего, хороша будет и без прощания, упрямыца!»

— Когда же это я бранил его без причины? — спросил Сийсконен.

— Да каждый раз, когда меня нет дома.

— Этот лодырь тебя обманывает! И вообще, нечего сказать — ребенок! Шестнадцать лет парню, пора в лесорубы идти. А что ж, отец ему и слова сказать не имеет права? Тогда и вовсе говорить с ним перестану. Меня здесь тоже не очень-то вниманием балуют.

— Но ведь я пробуду у своих всего три дня. Мне кажется, что взрослого мужчину можно на такой срок оставить одного. К понедельнику я вернусь.

— Оставайся там хоть до конца дней своих! Мы и без тебя справимся...

— Ну, раз справитесь, тем лучше, — сказала жена, подавляя клокотавший в груди смех.

Сийсконен услышал смешок, который не удалось жене сдержать, и вскипел.

— Можешь и вовсе не возвращаться!

Жена, с вещевым мешком на спине, остановилась на минуту в дверях, словно ожидая, не смягчится ли муженек, не обернется ли, не взглянет ли на прощание? Ничего похожего! С каким удовольствием жена погладила бы по щеке этого злюку, но сейчас не решалась. По всему было видно, что муж и впрямь переполнен злостью и обидой. И все-таки на душе у нее было хорошо. Далекая родная деревня снова, как и каждую весну, звала и манила ее; а может, сбросить мешок на скамейку и остаться с этим ворчуном, который и дня не может прожить без своей женушки. Именно это сердитое ворчание больше всего и радовало ее. Так любить свою жену после двадцати лет супружеской жизни! Растрогавшись до слез, она вдруг поняла, что вряд ли от жизни можно было ожидать больше того, что досталось на ее долю.

— Так я пошла, — сказала она.

— Можешь не возвращаться!

— А я все-таки вернусь в понедельник...

Сийсконен, так и не сонзволивший обернуться, услышал, как хлопнула дверь, — жена ушла. Его как по

сердцу резануло. Ушла, непоседа этакая! Ушла и даже не остановилась, даже не подумала: а что муж будет делать, как скоротает эти трое ужасно длинных суток? На душе у него помрачнело еще больше. Ну и пусть уходит! Пусть убирается ко всем чертям.

Подоконник в избе был удобным местом для ворчания до тех пор, пока жена возилась у печки, но сейчас вдруг Сийсконен обнаружил в нем одно плохое качество: из этого окна он не мог видеть своей женушки, которая уже шагала по направлению к манящей ее деревне. Волей-неволей Сийсконену пришлось пройти в заднюю комнату, где в это время шестнадцатилетний Юхани только собирался вставать. Отец тут же набросился с упреками.

— Только вставать изволишь?

— Но ведь и шести часов еще нет, — неохотно пробурчал сын.

Леность сына нередко сердила Сийсконена — его наследник не выказывал почти никакого желания трудиться. Сейчас отец чувствовал себя готовым к самой яростной словесной перепалке, но ему надо было спешить, чтобы хотя бы краешком глаза еще разок увидеть жену, прежде чем она исчезнет за углом дома Контанена.

— Марш пить кофе, — приказал он сыну, спеша к окну.

Оттуда было видно, как шла жена бодрым и пружинистым шагом, хотя ей уже перевалило за четвертый десяток. Легко покачивался на спине мешок. Но поднявшаяся было в сердце при виде жены радость тут же погасла от одной только мысли о бесконечных трех сутках без нее. На душе у него опять стало черным-черно, и он снова произнес в досаде:

— А тучи сгущаются... Так и есть, тучи...

— Что ты, совсем ясная погода, — возразил позади него Юхани, всовывая ноги в резиновые тапочки.

— Откуда ты-то, лодырь, знаешь?

— А на что у меня глаза?

— И все-таки тучи сгущаются! — упрямо повторил Сийсконен. — Да, да, сгущаются. Дождь польет еще до полудня. Я это чувствую. Будет дождь! И приспичило же этой непоседе уходить из дому в такую погоду!

## Вид с горы

В лунном свете горы казались гигантскими скорчившимися животными. Много миллионов лет назад огромные каменные массивы поднялись из глубины земных недр, выстроились в ряды и погрузились в мертвый сон. На отвесных склонах, где дожди и ветры уничтожали разрастающуюся с поразительной настойчивостью зелень, можно было наблюдать период за периодом геологические эпохи так же, как годы дерева на его срезе. Кое-где прятались сохранившие свою древнюю форму, но давно превратившиеся в вечный камень ракушки.

В светлую июньскую ночь ложбины гор были аспидно-черны, а голые скалы блестели серебристой лазурью. Звезды при луне мерцали тускло, и тем ярче из темноты долины сверкало стотысячное созвездие городских огней. Ночью город казался блестящей чешуйкой на извилине гигантской ладони гор. Днем же он был большой, людной, с белыми, сияющими в лучах солнца зданиями санаториев и прекрасными тополями, возвышающимися среди зелени парков.

Это был Кавказ. Горы я видела и раньше, но только теперь по-настоящему почувствовала их. Я жила ими, так же как прежде жила равниной, сама уподобляясь ей, как жила деревьями, чувствуя, что мое тело превращается в ствол, а ноги и руки — в корни и ветви. Теперь же я жила горами, как бы сама превращаясь в гору.

Гора, по которой я бродила, замерла в неподвижности много тысячелетий назад, но я ощутила в себе трепетание ее молодых сил. Сорок лет прожила я на земле, и каждый год моей жизни был как бы равен

ста тысячам лет в жизни гор. И когда эти молодые силы горы — ее верхние слои — приходят в движение, то нижние поднимаются с непреодолимой силой, сметающая все, что стоит у них на пути.

Так случилось и со мной. Все, что я таила глубоко в себе, считая, что это не представляет интереса для других, теперь вырывалось наружу и предстало передо мной в живых образах.

Это произошло в тот день, когда Эльбрус поднял на горизонте выше всех хребтов чудо своих сверкавших снегом вершин.

Окно кухни выходило на море. Ранней весной, в солнечные дни, глазам было больно от яркого блеска снега, покрывавшего лед залива. На острове, за заливом, находилась судостроительная верфь, где работал мой отец. Однажды, весенним днем, после того, как над городом и морем прозвучал заводской гудок, известия об окончании обеденного перерыва, рабочие принесли по блестящему льду отца; он был без сознания. Нет, это не был несчастный случай. Произошло кровоизлияние в мозг, и молоток выпал из его рук.

В то время меня не было дома. Когда я с сестрой возвращалась из школы, нам встретился на лестнице сурового вида красноносый мужчина с небольшим продолговатым чемоданчиком в руке. Сразу было видно, что он не рабочий. Открыв дверь на кухню, мы поразились царившей там белизне. На двуспальной железной кровати лежал отец в белой рубашке; на одеяле был даже пододеяльник. Стол, будто в воскресенье, покрывала белая скатерть. Мать, правда, не надела белого передника, но лицо ее было белым, как полотно. Она взглянула на нас с выражением той нарочитой важности, какая появлялась у нее на лице, словно маска, каждый раз, когда к нам приходили гости. На этот раз гостем был врач.

Никогда не показывать посторонним свои глубочайшие чувства было одним из основных жизненных правил матери, которое она соблюдала с неуклонностью, что подчас было нелепо и смешно. С той же старательностью, с какой она пыталась скрывать от внешнего мира семейные тяготы: бедность, болезни, всевозмож-



ные затруднения, она скрывала свои чувства и от детей. Жизнь ее была очень тяжелой, но слезы горести, которые она пролила в чем-либо присутствии, не наполнили бы и маленькой кофейной чашки. И теперь она тоже не плакала, говоря нам, что у отца легкий паралич и что он может еще поправиться.

— Если, конечно, он вообще что-нибудь понимает, этот врач, у которого и нос-то как у пьяницы, — добавила она.

Мать, правда, всегда с уважением относилась к общественному положению врачей, но в их знаниях и искусстве сильно сомневалась.

Глядя на мать, не плакали и мы. Для семьи это был страшный удар, но нам уже не раз приходилось испытывать подобные потрясения. И поэтому мы не сразу осознали подлинное значение случившегося. Нам хорошо были знакомы и немая тишина в доме и какая-то скованность, когда каждый избегал смотреть в глаза другим. От всего этого можно было уйти, лишь замкнувшись в себе. Различные мелкие детали, даже совсем ничтожные, в такие моменты воспринимаются с поразительной ясностью. Так и я поймала себя на том, что все время думаю о пододеяльнике. Им мы никогда раньше не пользовались, и мать постелила его, очевидно, только ради врача. Не могу вспомнить, каким мне показалось лицо отца в первый момент: я боялась смотреть на него. Я глядела только на руки, знакомые руки, которые лежали на белоснежном пододеяльнике. Тогда я не думала о них как о руках труженика, рабочего. Для меня это были просто руки моего отца, и я не замечала даже несмываемой металлической пыли под ногтями его пальцев.

Но вот отец, очень медленно повернув голову, посмотрел на нас. Я взглянула ему в лицо и увидела, что глаза его стали косыми. Один глаз неподвижно уставился на железную спинку кровати.

Это-то и было самым ужасным во всем случившемся. Я считала, что в жизни могут произойти любые неприятности и что от нее, собственно, и нельзя ожидать ничего хорошего. Однако существовали, на мой взгляд, неоспоримые факты, которые ничто никогда не должно изменить. Таким фактом был живой и здоровый отец, именно такой, умный и красивый. Наш отец, мой отец,

И хотя он теперь лежал больной и неподвижный, до этой минуты он оставался для меня прежним. И чудовищным, необъяснимым произволом показалось мне то, что глаза его стали косыми.

Отец слегка пошевелил губами, и его рот искривился. Он что-то сказал, но никто не разобрал произнесенных им слов. В смятении я пыталась смотреть на отца, как обычно, как будто и не произошло ничего, и он просто так лежит в постели, и глаза его вовсе не косые. Но тут мать сказала твердо и убежденно:

— Отец, конечно, в полном сознании. Он узнает вас и все понимает.

Я в ужасе поймала себя на мысли о том, что чуть не расхохоталась. В необычной обстановке люди, как правило, теряются и ведут себя совсем по-иному, как-то странно; но то, что моя мать даже в самые тяжелые моменты оставалась сама собой, примешивает ко всем печальным воспоминаниям моего детства некоторую долю комизма.

По тому, как мать произнесла эти слова, и особенно по выражению ее лица и тону чувствовалось, что она считает потерю рассудка самым позорным из того, что может случиться с человеком. И когда она уверилась, что отец, несмотря на кровоизлияние в мозг, сохранил здравый рассудок, это стало для матери знаменем, под которым она начала новый тяжелый этап в жизненной борьбе. Да, ей придавало силы и бодрость сознание, что ни от кого никогда она не услышит таких обидных слов: «Бедняга, он потерял рассудок». А впоследствии, когда заходила речь о тех временах, самым большим утешением для матери служило то, что она могла прибавить к рассказу о болезни покойного мужа: «Он до конца был в полном сознании».

С медленным наступлением весны отец как будто начал поправляться. Постепенно вернулась способность речи, он мог даже вставать, и бывали дни, когда у него вовсе прекращались головные боли. Двухспальную железную кровать на кухне, как и прежде, опять складывали на день. Отец стал выходить во двор. Когда потеплело, он, получив разрешение владельца дома, затеял развести огород в углу двора и посадить не только картофель и морковь, но этим летом обязательно вырастить огурцы. Все это говорило о его большом оптимизме. По-

следние два года, когда мы жили в родной деревне отца, он тоже пробовал выращивать огурцы. Но они зацветали поздно, а лето на севере такое короткое, что урожай оказывался ничтожно малым: несколько огурчиков величиною в палец.

— Ну, какие огурцы могут быть здесь! — ворчала мать, и в ее голосе слышались презрение и неприязнь к этому «несчастному северу» и желание вернуться на юг.

Но отец верил, непоколебимо верил, что непременно придет такое лето, когда созреют и огурцы. Если матери мерещились впереди одни только несчастья, то отец никогда не унывал, надеясь на лучшее будущее, и всегда был полон новых планов.

Вот и теперь он был настолько убежден в своем выздоровлении, что даже отправился на работу. Но проработал только один день. Уже назавтра он вернулся домой в обед с сильной головной болью и в подавленном состоянии. А после очередного визита врача он вдруг впал в такое отчаяние, что в муках бился больной головой о стену и громко стонал.

— Отец плакал, — шепнула мне младшая сестра, которая в тот день пришла из школы раньше меня; сказав это, она отвернулась; ее рот свело.

— Плакал? Отец? — прошептала я в ужасе. — Ты сама видела?

— Нет, я слышала. Через стену.

— Что говорила ему мать?

— Я всего не расслышала. Что-то вроде того, что не надо, мол, так убиваться и что нужно принимать все таким, как оно есть, и вообще кто, мол, знает, прав ли еще этот врач...

— А что же, собственно, сказал врач?

Мы уставились друг на друга. Сестра молчала.

Как мать сама переживала случившееся, что она почувствовала в те минуты, когда привели больного отца, и о чем думала потом, длинными осенними ночами, лежа рядом с парализованным, лишенным дара речи мужем в двуспальной кровати, — это осталось там, за стенами кухни, похороненным на вечные времена.

Но эти стены и даже воздух кухни, казалось, помогали нам в те дни понять то, о чем мать не упоминала ни тогда, ни позже. Все невзгоды и несчастья она

воспринимала так, словно жизнь устраивала их специально, чтобы покорить ее, заставить жаловаться. Однако она в ответ только плотнее сжимала губы. Никто не должен был видеть ее страданий, никто не должен был знать, в каком ее семья безвыходном положении.

Товарищи отца по работе часто заходили к нам, когда отец был здоров. Навещая его во время болезни, они старались как-то выразить матери свое сочувствие. «Надо же было такому случиться! Ведь мужчина в полном расцвете сил, нет еще и пятидесяти... И такой хороший специалист, на верфи о нем спрашивают, интересуются... Тот молодой инженер опять допустил ошибку... Ученый, а подсчитал неверно. Другое дело — опытный мастер... А господи ни разу не наведывались?» — «Нет», — отрезала мать.

Некоторые понимали, что следует что-то предпринять... Ну хотя бы организовать сбор средств, пустить, что называется, шапку по кругу. Но мать не делала никакого намека, а спросить, есть ли нужда в деньгах, никто не решился, так и осталось. «Дети, кажется, продолжают ходить в школу, видимо, в семье не совсем пусто... Старшие-то небось уже зарабатывают, вероятно, они не забывают родителей...»

Посещения стали все реже, а затем вовсе прекратились. Ведь чужое несчастье вызывает прежде всего навязчивый страх, что такое может случиться и с тобой... Если ничем помочь не можешь, а от сочувствия толку мало, то лучше держаться в стороне...

Таким образом, около отца находилась лишь поредевшая семья. Только четверо детей пока оставались дома. Брат подросток работал учеником в мастерской жестянщика на другом конце города. Он спокойно отнесся к тому, что стал теперь кормильцем семьи, аккуратно приносил домой весь свой ученический заработок, и мать выдавала ему всего несколько марок на его собственные расходы. Он переживал увлечение танцами и боксом. Не получив нового костюма, который был ему обещан к зиме, он тщательно отутюживал брюки старого, расчесывал до блеска свои светлые волосы и смазывал их чем-то пахучим. Зато пятнадцатилетняя сестра часто бывала грустной. В течение лета она бралась за любую временную работу, а когда наступила осень, скакала тихо, но твердо:

— Я понимаю, что больше не смогу ходить в школу.

Они с матерью обсудили положение, возможности заработка, и, наконец, было решено, что сестре следует поехать в Хельсинки. В один из пасмурных осенних дней она уехала. Помню ее бледное лицо, на котором отражались и страх, и озабоченность, и еще что-то неуловимое. Чего стоило ей это решение, как тяжело ей было расставаться со школой, я поняла лишь много времени спустя.

Остались только брат и мы, двое младших. Мы уже привыкли к тому, что сестры уезжали. Мы привыкли и к смерти. Два года назад умерла бабушка, а в прошлом году, в последний год нашей жизни на родине отца, одна из сестер вернулась, чтобы умереть дома. Смерть бабушки была красивым и торжественным событием: она умерла в тот самый день, когда на реке начался ледоход. А смерть сестры была странной и печальной. Она приехала домой специально для того, чтобы умереть. Все лето каждый день с утра до позднего вечера она сидела, одинокая и задумчивая, на берегу реки, смотрела на текущую воду, на линию горизонта и ожидала прихода смерти.

И когда снова наступило лето, мы знали, что в конце его умрет отец. Но это лето было иным. Мы жили теперь в городе. Здесь не было ни реки, ни равнины, а было море и пригород с заводами и домами. И отец вовсе не ожидал смерти. Наш отец не хотел умирать. Он старался вставать, пока мог, разговаривал с нами, хотя это удавалось ему с трудом. Часто он произносил совсем не то слово, какое намеревался сказать, и тогда, раздраженный, охал. Он все еще пытался работать. Всю жизнь отец трудился, и последнее, что он сделал своими руками, была гранитная подставка к кресту на могилу покойной сестры.

Крест отлили еще зимой в механической мастерской, и брат приделал к нему медную пластинку, на которой были выгравированы имя сестры, звездочка и крест над датами рождения и смерти. А отец стал выдалбливать из серого гранита подставку к кресту. Не знаю, занимался ли он этой работой ежедневно, но когда я вспоминаю то лето, я так и вижу своего отца на тропинке, ведущей к берегу, с долотом в руке. Он наголо обрил

голову и носил старую полотняную белую куртку, ту самую, которая в прежние годы означала, что наступило воскресенье, а вместе с ним — праздничное летнее настроение. Время от времени он отрывался от работы и распрямлял спину, а постояв с долотом и молотком в руках, снова нагибался. Положив инструмент на землю, он срывал травинку и брал ее в рот... Так, немного ссутулясь, с травинкой в зубах, он подолгу простаивал неподвижно, а затем опять углублялся в свое занятие...

Когда я дошла до этого места, меня вдруг охватило недоумение. Многие важные еще не описано, почему же я принялась именно за рассказ об этом? Почему здесь, среди величественной природы, переполненная впечатлениями, побуждающими воспевать будущее человечества, я вдруг обратилась к своему прошлому, к событиям тридцатилетней давности, ко времени, когда умер отец? Я отложила перо и бросила листы в ящик письменного стола.

Однажды утром, входя в ворота санатория, я увидела у сторожевой будки пожилого мужчину, который неожиданно напомнил мне отца. Он стоял спиной к воротам, в белой полотняной куртке, без шапки и смотрел на розы. Манера ставить ноги, форма бритой головы и — да, конечно, — белая куртка (здесь очень многие носят белые куртки) — все напомнило мне отца. В нем так много было сходства, что я растерялась. У меня тотчас мелькнула мысль, что ведь здесь я могу встретить брата отца, того, который ушел из родного дома в тринадцатилетнем возрасте, попал затем музыкантом в царскую армию, дослужился до капельмейстера и жил как будто где-то на Кавказе. Да нет, конечно, не его самого, а сына. Ведь брат отца умер в преклонном возрасте много лет назад. И, больше того, даже его сын должен быть сейчас гораздо старше, чем мой отец в последний год жизни. Отцу тогда не было еще пятидесяти. И этот человек тоже был старше, чем отец перед кончиной.

Он повернулся, и я узнала в нем одного из сторожей санатория. Я видела его и раньше, много раз.

— Здравствуйте! — сказал он. Затем последовало обычное, но всегда теплое и дружеское: — Гуляли?

— Да.

Нет, его лицо совсем не походило на лицо моего отца. И в этот миг как будто огромная невидимая птица пролетела мимо и смахнула видение своим крылом...

Подставка была готова. Позже брат прикрепил к ней крест. А сейчас отец уже снова неподвижно лежал в кухне на железной кровати, на той кровати, которую он когда-то тоже сам сделал, и только одну руку мог теперь поднимать над полинявшим красным одеялом. На одеяле больше не было пододеяльника, и поэтому рука казалась очень белой, а ввевшаяся в кожу и под ногти чернота за лето сошла.

Наступила осень, а крест на серой гранитной подставке, почти вросшей в землю, все еще криво стоял у тропинки, ведущей к берегу. Он стоял там и тогда, когда выпал первый снег. Мы съели уже всю картошку, которую весной посадил отец. А огурцы и в тот год успели только зацвести.

Мать не отходила от постели больного отца. Но когда пришла зима, она поняла, что не сможет больше за ним ухаживать. Жить летом было немного легче. Возможно, кто-то нам помогал; видимо, сестры присылали деньги. А с наступлением зимы стало ясно, что матери придется устраиваться на работу. Но как быть? Ведь отец лежал неподвижный, беспомощный как младенец.

И вот однажды мать направилась в больницу. Вернулась она оттуда с серьезным лицом и плотно сжатыми губами.

Мы с сестрой сидели за уроками, испуганно и выжидающе глядя на нее.

— Отца возьмут в больницу? — спросила я наконец.

— Там нет мест, ведь не известно, поправится ли он и.. — Мать замолчала и добавила резко: — И к тому же денег у нас нет.

Но она не это хотела сказать, а то, что не известно еще, когда он умрет. Может пройти целый год. Медленное умирание в больнице дорого обойдется. И там, в больнице, ей дали один совет, который вначале потряс ее, привел в ужас. Но она вынуждена была последовать ему.

Позже, вечером, когда брат был уже дома, мать вошла в комнату, закрыла за собой дверь в кухню и сказала:

— Мы с отцом посоветовались и решили, что, может быть, лучше устроить его туда, раз уж в больницу не удалось...

— Куда? — Брат поднял голову и большими серыми глазами посмотрел на мать.

— В Клеметсе.

Брат уставился на мать. Когда мать опять заговорила, ее голос был необычно тонким:

— Я же старалась, но... его так трудно даже содержать в чистоте.

Перед моими глазами возникла картина страшного мрака, в котором должен исчезнуть отец. И я спросила шепотом:

— Что такое Клеметсе?

— Дом призрения! — грубо ответил брат. — Но для нашей матери «Клеметсе» звучит лучше. Что же делать? — добавил он тише и отвернулся к окну. — Что делать? — прошептал он снова. — О, черт побери!..

— Ну, зачем ты так... — проговорила мать, словно защищаясь. — Это название местности, даже врач говорит «Клеметсе»... — И вдруг она заговорила громко и требовательно, но голос ее звучал глухо, в глазах у нее появилась злость: — Отец знает, как я старалась! Он все понимает, все, хоть и не может говорить!

Серые глаза брата не смотрели на мать. Он проворкотал:

— Никто и не утверждает, что ты не старалась и что отец не понимает.

Я не помню точно, как долго отец находился в городском общинном доме. Возможно, несколько недель, а может быть, и месяцев. Мы поменялись квартирами с семьей Саариненов. Они переехали жить в нашу комнату и кухню, а мы в их комнату. Окна выходили уже не на море, а на улицу, по другую сторону которой возвышался дощатый забор фабрики. Теперь у нас не было плиты, и каша, чай и подливка, которые мы варили в кафельной печи, пахли дымом. В комнате всегда было холодно. Мы с сестрой спали вместе с матерью на двуспальной кровати, на которой прежде лежал отец. Мы почти не говорили об отце, но каждый вечер, ложась спать, думали о нем. Он был теперь далеко от нас, на другом конце города, в общинном доме, который мать продолжала называть «Клеметсе».



По мере того как название «общинный дом» закрепилось и вытеснило «дом призрения» или «богадельню», как будто повысился и уровень таких заведений. Но я не знаю, хорошим или плохим был тот общинный дом. Когда мать была занята, мы, правда, с сестрой навещали отца. Однако я ходила туда словно с закрытыми глазами, ничего не видя вокруг. Поэтому мои воспоминания очень скудны. Наша школа находилась далеко, в центре города, и в те дни, когда мы шли к отцу, под моей партой в сумке стоял термос. В нем был кофе для отца. После уроков мы сразу же убегали от наших одноклассников и направлялись в противоположную сторону — в незнакомый район, через железнодорожный мост, за город. О «Клеметсе» моя память не сохранила ничего, кроме огромного зала, в котором раздавалось эхо, как в бане. Этот зал был разделен на клетушки, где по двое жили призреваемые. Товарищем отца по клетушке был маленький уродливый мальчик с огромными карими глазами, которыми он внимательно рассматривал нас. Но мы делали вид, что не замечаем его. Остальные были старики, и зал был полон дребезжащих, старческих голосов, шаркающих шагов, стука палок о пол, крикения и вздохов.

После того как отец с трудом выпивал кофе, мы ненадолго задерживались у его постели. В клетушке был только один стул. Я говорила:

— Из Тампере опять пришло письмо, в нем были даже деньги, двадцать марок.

Отец кивал. Усы его были сбриты, и он стал удивительно похож на покойную бабушку.

— Из Хельсинки тоже пришло письмо. Сиркка устроилась продавщицей, но заработок — всего лишь четыреста марок. Ведь она пока только ученица.

Отец кивал.

— Мать сегодня не смогла прийти: занята уборкой у жены капитана. Но завтра она опять придет.

Потом я не знала, что еще сказать, и глядела на сестру.

— Эйно придет в воскресенье, — произносила та торопливо.

Теперь было сказано все. Мы боялись что-либо спрашивать у отца: когда он пытался отвечать нам, то долго подбирал слово, в бессильном раздражении тряс

головой, и в конце концов мы так и не могли ничего понять. При этом у него выступал такой пот, что рубашка прилипала к телу.

— Ну, до свидания, завтра мать придет...

Мы выходили из клетушки и, словно на деревянных ходулях, шли к выходу, не глядя на стариков и старух, которые, как неясные тени, маячили вокруг. Потом мы молча бежали всю дорогу до дома. Зима в тот год была холодная, самая холодная зима в моей жизни. Когда мы пробегали через железнодорожный мост, колени делались ледяными.

В школе никто, конечно, не знал, что наш отец находится в общинном доме, во всяком случае, мы так думали. Такое положение считалось позором, и его следовало тщательно скрывать. Мы боялись, что если узнают об этом, то нас с сестрой тут же исключат из школы. Я была в постоянном страхе, что в один прекрасный день кто-нибудь подойдет ко мне и громко скажет: «Как тебе не стыдно! Твой отец находится в богадельне, а ты еще лезешь учиться!» Однако меня немного успокаивало то, что дети проживающего по соседству спекулянта, промышлявшего спиртом, тоже учатся в школе, хотя отец их уже дважды сидел в тюрьме. Не моя вина была, что я не задумываясь причисляла спекулянтов спиртом и обитателей общинного дома к одной и той же группе, — ведь у них не было тех же прав, что у других членов общества.

Правда, вместе со мной учились дети многих бедняков, однако предполагалось, что родители учащихся нашей школы должны быть хоть в какой-то степени состоятельными. Поэтому, когда кто-нибудь из учеников в определенный срок не мог заплатить за тетради, он говорил обычно:

— Простите, учитель, но у моей матери сегодня утром не было мелких денег.

Моя мать советовала в подобных случаях отвечать так же. Но однажды я выдала себя, заявив:

— У моей матери сегодня утром не было денег.

Учитель остолбенел. Не ослышался ли он? Может, я случайно пропустила одно коротенькое слово?

— Как так? — спросил он озадаченно. Поморгал глазами, видимо взвешивая эту новую проблему, и ска-

зал с удивлением: — Но почему же она не взяла из хозяйственных денег?

И хотя я ни за что на свете не осмелилась бы засмеяться, безудержный смех душил меня. Мне и в голову не приходило, что, когда кончаются в доме деньги, нужно «брать из хозяйственных».

Весьма печальным образом осуществилась одна мечта отца перед самой его смертью. Он не прописывал семью в городе, не переставая надеяться, что когда-нибудь ему удастся вернуться в родную деревню, где он будет работать кузнецом в собственной кузнице, выстроенной им на берегу реки. Но вместо собственной кузницы он попал в общинный дом. И вот однажды заседание приходского комитета по делам бедных решило перевести отца как члена своей общины из городского общинного дома в сельский. Общине приходилось платить городу за содержание отца, а паралитик мог прожить еще не один год.

В самое темное время года возвращался отец в родную деревню. Она находилась недалеко от города, но поездка всей семьей туда была нам не по средствам. Только мать увидела его еще раз перед смертью, для нас же он исчез еще раньше в той темноте, которую я помню очень смутно. Но зато я ясно вспоминаю тот январский вечер, когда пришла весть о его смерти.

Известие это принесла дальняя родственница отца, по имени Санни, верная служанка старой вдовы ассессора. Однажды, когда мать в рождественские праздники ездила навещать отца, начальница общинного дома обещала сразу же позвонить Санни, если что-нибудь случится.

Санни бывала у нас редко, но раза два мы как-то по пути из школы заходили к ней и видели вдову ассессора. Это была старуха с водянистыми глазами, совершенно седая, в черном кружевном чепчике, с отвислой нижней губой лилового цвета. Муж ее умер давным-давно, все дети были уже взрослыми, и она жила вдвоем с Санни в просторной квартире. Вернее, доживала свой век: перед самым рождеством, вскоре после нашего последнего визита к ней, ассессорша умерла, и ее похоронили рядом с супругом на городском кладбище. Санни прослужила у ассессорши тридцать лет и горько оплакивала ее смерть. Она была из тех людей,

которые легко плачут. И когда ей сообщили по телефону о смерти ее дальнего родственника, она сначала разразилась рыданиями, а затем немедленно отправилась к нам, чтобы сообщить печальное известие. Она ехала в пригород на автобусе и, сидя в нем, думала о смерти ассессорши, о смерти своего родственника, о смерти вообще и снова рыдала. И, собственно, ничего удивительного не было в том, что когда она вошла к нам и взглянула на мать, то опять разрыдалась и простонала:

— Ассессорша спит в могиле, и Эдвард умер!

Увидев Санни, мать сразу поняла, с чем та явилась; и будто плотина прорвалась в ней, она тоже громко зарыдала. И только тут до ее сознания дошли слова Санни. Она вдруг перестала плакать, вытерла передником нос и сказала с сочувствием:

— Вот как, и ассессорша умерла!

## **Ненаписанная поэма**

В числе прочих должностных лиц на месте казни находился представитель политической полиции. Его обязанностью было письменно засвидетельствовать, что приговор приведен в исполнение, и изложить в подробностях, как это произошло. Надменно, с недовольным видом оглядывал он приговоренного к смерти. Полицейский знал по опыту, что те, кто не отрекается от своих убеждений во время следствия, обычно не колеблются, вступая и на последний путь. А этот выглядел твердым, закаленным человеком. Очевидно, он собирается умереть как настоящий коммунист.

Сияло ясное августовское утро. После прошедшего ночью дождя листья деревьев и трава были по-весеннему свежи, а ржаво-красный песок — влажным и холодным. Высоко в бледно-синем небе кружились две длиннокрылые птицы, залетевшие с моря. Из кустарника в роще слышалось непрерывное щебетание: маленькая пичужка пела там, захлебываясь от счастья. И, напуганная, вдруг смолкла: утреннюю тишину грубо разорвал ружейный залп.

Все прошло в установленном порядке. К ранее сделанным записям полицейскому чиновнику оставалось добавить только следующее:

«При зачитании смертного приговора В. рассматривал окружающий ландшафт, как будто читаемое его вовсе не касалось. Стоя на месте казни, он все еще смотрел на вершины деревьев, на небо, а когда начали заряжать винтовки, он, верный своему долгу коммуниста — быть пропагандистом до конца, — выпрямился, глубоко вздохнул и крикнул: «Да здравствует революция!..» Все остальное, что он, вероятно, намеревался произнести, осталось невысказанным: раздался залп из восьми винтовок (6 часов 04 минуты). У В. подкосились колени, затем он рухнул на спину. Удачная смерть, мгновенная; четыре раны в область сердца и две в живот».

В юности воскресными летними днями они уезжали на лодке с подвесным мотором далеко на скалистый остров, облюбованный чайками и бакланами. Часами лежали молча рядом на скале. На коричневой от загара коже — приятное тепло солнечных лучей, в ушах — крики морских птиц. Повернувшись на спину и широко открыв глаза, он видел, как они кружились, издавая странные крики, словно о чем-то спрашивали.

Воспоминания молодости всегда самые яркие. Но тогда они еще не знали, что все, чем они жиди в те дни, все, о чем говорили, что слышали и видели, останется в их памяти навсегда, на всю жизнь, как что-то очень важное и неизменное. И когда позже, через много лет, у кого-либо из них всплывали картины прошлого, тут же вставал вопрос: «А почему именно это осталось у меня в памяти? И помнит ли он (или она) все это так же отчетливо, как я?»

Однажды ночью (это было в военное время) муж, лесогвардеец и подпольный работник, после нескольких месяцев разлуки пришел тайно домой, чтобы повидаться с женой. Обсудив все самое неотложное, а затем поболтав о менее значительных, обыденных делах, они умолкли и лежали рядом, погруженные каждый в свои мысли.

Это был их дом. В комнате знакомые предметы, возле постели — деревянная кроватка, в ней спокойно спит пятилетний сын. За стенами дома — суровый мир тех дней. И невольно в их думы вплелись воспоминания прошлого, дней беззаботной молодости. Не открывая глаз, она спросила:

— Помнишь, какими теплыми были скалы и как кричали чайки?

— Когда? — спросил муж задумчиво и тут же добавил: — А-а, тогда... Да, конечно! Я тоже в последние недели часто думаю о том времени. Иногда бывает так холодно, что только эти воспоминания согревают.

Он повернул голову и спросил с дрожью в голосе:

— Ты тоже вспоминаешь те дни?

— Мне нет нужды вспоминать, — ответила жена. — Они сами приходят, когда ты рядом... И то, чем я жила тогда... Ведь это настоящее счастье...

Она замолчала, словно чего-то ожидая. Чувство любви к мужу было в ней по-прежнему настолько сильным, что ей хотелось снова и снова слышать от него: «Да, это и для меня настоящее счастье».

Но он, помолчав мгновение, сказал:

— Я никогда раньше не задумывался над этим. А теперь, когда нам всем приходится так много испытывать, невольно оглядываешься назад и как бы взвешиваешь: что же ты сделал за свою жизнь? Особенно потому, что каждую минуту ты можешь умереть... И ты вдруг замечаешь: многое из того, что тебе казалось когда-то незначительным, сейчас оцениваешь совсем иначе.

В общем-то жизнь была такой, что впору посмеяться над смертью... Я никогда раньше не говорил тебе, как много для меня значит, что ты такая, как есть. Я воспринимал это как само собой разумеющееся и даже не сумел поблагодарить тебя...

— Да, — прошептала жена. — Я понимаю. И слова здесь не нужны. Ведь и я тебя никогда не благодарила словами. Но, — продолжала она, помолчав, — я так признательна тебе за то, что жизнь у нас была именно такой... а не маленькой и слепой...

Тюрьма, где он сидел в ожидании расстрела, была расположена на морском берегу. Окно камеры выходило

в сторону города, и он не мог видеть моря. Но он слышал крики чаек и бакланов, а в ветреные дни — нескончаемый шум волн. И о чем бы ни думал он в тюрьме в последние месяцы своей жизни, все неизменно возвращало его к молодости, к тому скалистому острову.

Он боролся как мог, старался делать это как можно лучше. Он знал, что его ожидает, если его схватят: конец должен был наступить в тот самый час, когда они придут за ним. Но случилось так, что его взяли живым. На допросах у следователя он держался твердо, сохраняя полное спокойствие. Теперь ему оставалось жить несколько месяцев, от силы год. Единственным содержанием жизни стало ожидание смерти.

Жене, до того как ее тоже арестовали по другому делу, удалось дважды совершить нелегкое путешествие в далекий приморский город, чтобы повидать мужа. Потом они переписывались. Жена перестала писать только тогда, когда ее после изнурительных следственных и судебных волокит осудили на пять лет тюремного заключения и лишили права переписки. Но муж продолжал ей писать, — это стало для него необходимостью. Письма в коричневых конвертах накапливались в канцелярии той тюрьмы, где сидела жена, — до того дня, когда она сможет их прочитать. Дня, когда мужа уже не будет в живых...

«Мне вначале было досадно, — писал он, когда следствие по делу жены еще не было закончено, — что тебе приходится вместе со мной делить ожидание моей смерти. Насколько легче перенести внезапную весть об этом, чем ждать ее долгие месяцы. Да и мне самому возможность такого ожидания представлялась всегда отвратительной и бесцельной. Но и эти месяцы оказались достойными жизни. События, которые происходят в мире, настолько значительны и интересны, что следишь за ними с удовольствием и улыбкой, даже когда ты выброшен из игры. Это все равно, что состязание в беге, где твоя собственная смерть спешит обогнать мировые события. Но кто знает, может, я и останусь в живых. Впрочем, будь что будет, я не унываю. Не унывай и ты и никогда не плачь!..»

Получив письмо, жена плакала, но не тогда, когда читала его, а позднее, ночью, уже лежа в постели. Плакала украдкой, тайно, под тюремным войлочным

одеялом. В ее слезах были не только печаль и боль, но и гордость: да, ее муж такой, каким следует быть человеку! Он стал ей теперь ближе, чем когда-либо раньше.

«Я плачу не от горя, — отвечала она в письме мужу. — Я убеждена, что всегда буду с тобой, даже если никогда больше не увижу тебя живым. Я буду радоваться тому, что ты был. И ты останешься во всем, что есть в жизни прекрасного. Ты будешь жить не только в своем сыне и не только для нас двоих... как и все те, кто жил и умер, как ты».

Но она в то же время очень страдала, и даже больше, чем он. Мысли о сыне, которого пришлось оставить у бабушки, не покидали ее. Удручали попреки в письмах, которые присылала старуха. К тому же ей ни минуты не удавалось побыть наедине со своим горем. В период следствия она сидела в камере вместе с уголовниками; состав их все время менялся. Но у всех этих женщин было одинаковое отношение к жизни. Их вечное зубоскальство, их неприкрытый цинизм казались ей кошмарным сном. В эту гнетущую действительность приходили письма от мужа; он спокойно, как бы со стороны разбирал и оценивал их жизнь. И ей тогда казалось, что муж издала протягивает руку и уводит ее в совершенно иной, удивительно чистый и светлый мир.

Мужа держали в одиночной камере, и он, размышляя, шагал из угла в угол. С большим трудом ему удавалось поддерживать связь с другими политическими заключенными, ибо приговоренные к смерти находились в строжайшей изоляции. Это была единственная живая нить, связывающая его с людьми. В записках к своим товарищам по заключению и в письмах к жене он изливал все, о чем размышлял в одиночестве камеры. Товарищи же сообщали ему обо всех событиях, происходящих в мире. Эти вести помогали ему перекидывать мост из прошлого в будущее, и он чувствовал, что мост этот прочен. Однако события на фронтах развивались не так быстро, как хотелось. Он понимал это и знал также, что они успеют его расстрелять. И тогда он как бы отдалился от собственной судьбы и смотрел на все, как историк на дела вековой давности. Это давало ему ясность взгляда на происходящие события, и для него теряло всякое значение, умрет ли он завтра или через несколько месяцев.



Но тюрьма жила сегодняшним днем. Стены просили его перестукиванием, тайные записки требовали от него, чтобы он делился с другими своим опытом, чтобы поддерживал и ободрял тех, кто был слабее, чем он. Трава зеленела на тюремном дворе, муравьи и всевозможные жуки сновали по ней в той непостижимой спешке, которая удивляла его и в детстве. Деревья на холме возле тюремных ворот качались на соленом морском ветру, беспрерывно кричали бакланы...

Шло лето, его последнее лето, с бесчисленными, непрестанными изменениями цвета, запаха, звуков. Оно вызывало в его памяти другие летние дни, дни далекой молодости. Он хорошо знал, что в его жизни было много серого, тяжелого и удручающего, но все это оставалось где-то в стороне, позади. Память отметала все мрачное и печальное и сохраняла только красочную цепь дней, полных радости и солнца.

И ато светлое и победное хлынуло из его писем в тот день, когда жена получила их целую пачку. Задолго до этого к ней пришло известие: свершилось то, в ожидании чего она провела много мучительных, бессонных ночей.

Однако последнее, прощальное письмо она смогла прочитать лишь два года спустя, уже будучи на свободе, вместе с рапортом, который был составлен полицейским чиновником на месте расстрела ее мужа. Она сухими глазами прочитала рапорт, и гордость за мужа охватила ее: он до конца остался самим собой, тем человеком, которого она любила. Затем она взяла в руки письмо. У нее было такое чувство, будто муж обращается к ней прямо с места казни:

«Я рад, что мог прожить еще это лето и умру прежде, чем оно кончится. Я научился видеть и любить красоту как в малом, так и в большом. Много раз меня печалило, что я не умею выразить словами то, что чувствую. Я был только одним из простых людей, и передо мной в жизни, как и перед каждым человеком, всегда стоял вопрос о правде и неправде. Я боролся за правду и не раскаиваюсь ни в одном своем шаге, который я сделал во имя ее. Жизнь тех людей, которые придут после нас, будет ярче, краше. Мы были прежде всего

борцами. А они будут людьми, они увидят мир во всем его великолепии, они будут жить и выражать свою любовь к жизни красивее, чем мы. И это время не за горами — так величественна и насыщена событиями наша эпоха. Когда я сижу в своей камере и под крики морских птиц думаю о тебе, мне кажется, что и наша жизнь была как поэма, которую я не сумел сложить, как песня, которую не умею спеть, хотя она звенит в моих ушах. Это песня для всех людей, песня новой эры... Но в эту песню и мы с тобой внесли свой вклад, и он сохранится. Если когда-нибудь ты станешь рассказывать сыну, каким был его отец и почему он умер, расскажи и об этом. Скажи, что его отец был счастливым человеком».

## Встреча

Ручеек весело журчал, петляя по лесу. Человек оставался на берегу ручья, постоял, глядя на залитую солнцем поляну, потом бросил шапку на землю и наклонился, чтоб напиться. Он шумно тянул воду из ладони, пил медленно, с наслаждением, кадык на шее двигался вверх-вниз. Потом человек зачерпнул воду обеими пригоршнями и ополоснул потное загорелое лицо. Рука задержалась на подбородке, заросшем кудрявистой щетиной.

— А что, если побриться? — сказал он вслух и огляделся. На сосне он заметил белку, которая смотрела на него из-за ствола круглыми яркими глазками.

— Как ты полагаешь, пышнохвостая?

Белка юркнула за ствол, снова выглянула с другой стороны, стрелой помчалась вверх и перепрыгнула на соседнюю ель.

— Или, может, зайти в баню к Мянтьонену? — задумчиво произнес человек, потирая подбородок. Ему показалось, что он до омерзения грязен, его одежда насквозь пропахла потом, дымом и землей, рубаха прилипла к телу.

Он медленно опустился на гнилой пень, достал наощупь кусок сухого хлеба из рюкзака и начал грызть. Ручеек навевал сонливость, солнечные лучи плясали на

стебельках черники, и чудилось, будто ее розовые цветы излучают свет.

Человек глядел на цветы, его сильные челюсти медленно двигались. Глубокая борозда, поднимавшаяся от переносицы ко лбу, и складки вокруг рта делали его лицо изможденным. Выражение прищуренных глаз говорило о том, что человек долгое время прожил в одиночестве, лишенный иного общества, кроме собственных мыслей. При виде его заросшего лица невольно вспоминались снимки, которые в ту пору печатали все иллюстрированные журналы мира, — снимки бородатых измученных мужчин, в равной мере походивших и на Христа и на разбойников.

Этот человек был Антти Куусниemi, начальник лесогвардейцев, за голову которого была обещана награда, — тот самый, кто дважды прорывался сквозь кольцо преследователей. Последний раз это было в 1943 году, в конце зимы, когда была захвачена землянка Мякинена и в схватке погибли два шюккоровца и три лесогвардейца. Почти три года бродил Антти по родным лесам и за это время успел превратиться в легенду. Это о нем в доме шюккора в селе говорили с угрозой и проклятиями, а в избушках глухих лесных деревень шептали с тайным блеском в глазах. Его видели будто бы повсюду, а иной раз одновременно в разных концах прихода. Если у какой-нибудь коровы было мало молока — значит, Антти Куусниemi подоил ее для своих нужд; если пропадала овца или курица, то кто же иной ее похитил, как не Антти Куусниemi! Осенью бабы, ходившие в лес, рассказывали, будто видели его в женском платье за сбором ягод; крестьяне, ездившие за сеном на дальние сеновалы, находили следы его костров. Но те, кто действительно встречался с ним, те, кто добывал ему еду и в чьих банях он мылся темными ночами, никогда не говорили о нем ни слова.

Человек бережно собрал на ладонь застрявшие в бороде хлебные крошки и сунул их в рот; скрестив руки на затылке, он растянулся в шуршащем черничнике. Облака плыли высоко над вершинами сосен, человек глядел на них, в полудреме прищурив глаза, и зрачки его сузились, превратясь в точки.

Вокруг шумел лес. Лес, который почти три года был его домом, оберегал его и, словно надежная дверь,

закрывался за ним перед самым носом преследователей...

Но этот лес означал для него и другое: враждебную темноту, полную крадущихся шагов, смерть, притаившуюся в чаще, безымянный страх и тишину, в которой шум собственной крови казался грохотом водопада.

Бывали моменты, которых он не забудет никогда. После захвата землянки Мякинена он больше месяца бродил по лесу без еды, без оружия, блуждал по болоту, питался только клюквой и замерзшей брусникой, не осмеливался развести даже костер, боясь выдать себя. Две недели за ним гнались, словно за волком.

Как-то ночью в ту тяжелую пору он лежал под елью, насквозь промокший, окоченевший, изнемогая от голода. Мысли двигались медленно. Он думал о своем отце, который погиб во время событий 1918 года. А теперь вот он сам должен погибнуть, умереть здесь, под елью, подохнуть, точно раненый зверь. Неужели такова участь всех подобных ему, из поколения в поколение — всегда поражение?

Нет, черт побери! Мысленно он представил себе следователя, от которого сбежал осенью 1941 года, его ликующее звериное лицо. Это было в день захвата Выборга. А как-то это лицо выглядит теперь? В мире все повернулось по-новому. Антти Куусниemi хотелось увидеть это лицо еще раз, в иной обстановке. Нет, он не доставит врагам радости, он не допустит, чтоб они в разложившемся, исклеванном воронами трупe под еловыми ветвями когда-нибудь признали Антти Куусниemi, того, кто водил за нос и охранку и шюцкоровцев.

В тот вечер он дотащился до человеческого жилья, до маленького лесного торпа. Он знал, какие мысли затеивал хозяин этого дома... Антти не пришлось раскаиваться: в крохотной курной баньке он смыл с себя и усталость и мрачные думы, а заботливость старого крестьянина, его какое-то удивительное душевное тепло вновь наполнили Антти смелостью и отвагой. Антти покинул избушку под утро, в высохшей одежде, со свертком хлеба и мяса под мышкой, готовый сражаться и против людей из охранки и против лесной нечисти...

Но сегодня, лежа на берегу ручья, он думал не о той ночи. Складки вокруг рта стали мягче, в глазах мелькнула глубокая печаль. Белка вернулась на сосну, и

человек рассеяннo следил за ее хлопотами. Он думал о своей семье. С женой он встречался тайком несколько раз, а детей не видел уже полтора года. Изредка ему доводилось проходить мимо дома, но он никогда не переступал порога. Младшему сыну был два месяца, когда отец в последний раз, темной ночью, склонился над его кроваткой. Над его старшим сыном измывались шюцкоровцы. Два раза они останавливали мальчика по дороге в школу и, наставив дуло винтовки, допытывались, где скрывается его отец. Но мальчик ничего не мог сказать, он действительно не знал, где его отец. Домой он возвращался с остановившимся взглядом, в горячке. Он часто кричал во сне и мочился прямо в постель.

Мышцы на лице человека напряглись, глаза превратились в грозные щелки.

— Подлецы! — злобно сказал он.

На его подбородок вскарабкался муравей и юркнул в бороду. Человек осторожно взял муравья кончиками пальцев и поднес к глазам. Челюсти муравья впустую шарили по воздуху и тщетно пытались вгрызться в толстую кожу пальцев.

— Ишь, какое ты упрямое и выносливое существо, — почти растроганно проговорил человек. Потом так же осторожно опустил муравья на стебелек черники. — Ну, пошевеливайся, иди-ка, трудись.

Во время своей лесной жизни он стал удивительно нежен ко всему, что жило и двигалось. Ему бы и в голову не пришло теперь убить даже змею. Это чепуха, будто змея нападает на человека; нет, не нападает, если ее не раздражить. И существует ли что-нибудь более забавное, чем любопытная ящерица на освещенном солнцем камне? Если не шевелиться, она осмелится проскользнуть даже в рюкзак. А бесчисленные птицы, щебетавшие в ветвях? Он не знал их названий, но для развлечения научился передразнивать их голоса и в точности изучил их повадки, их токование, их семейную жизнь. То, что люди творят в своем мире, не влияет на жизнь дремучих лесов. Каждый год приходит сюда весна, все такая же и тем не менее новая, с кукованием кукушки и с утренними птичьими концертами...

— Пожалуй, и впрямь загляну-ка я сегодня к Мян-тюнену, — пробормотал человек. — Там наверняка знают что-нибудь о моих... и, может, в баню попаду.

Собственно, это не входило в его планы. Самое позднее завтра он должен доставить сообщение Аарне Оллиле, тайное убежище которого известно только ему, Правда, сейчас он чувствовал себя спокойно, едва ли следует опасаться поимки, если он даже заглянет в деревню...

Он поднялся, перекинул рюкзак на спину. Белка испуганно перепрыгнула на другое дерево. Человек пошел вдоль ручья. Хотя он прихрамывал — все еще была рана, полученная в схватке, — но ступал легко и бесшумно, видно, привык быть всегда настороже. Приближаясь к деревне, он то и дело останавливался. Ручей весело журчал, щебетали птицы, откуда-то доносился приглушенный лай собаки.

Он подошел к серому плетню, бесшумно перелез через него. Сквозь по-весеннему зеленые ветви молодых березок виднелась рига. От нее вела тропа к дому. Он остановился за углом риги и стал всматриваться в направлении двора. Освещенная солнцем изба излучала будничный предвечерний покой. Посреди двора сидела полосатая кошка. Человек собрался было подняться по тропинке к дому, как вдруг остановился. Из-за амбара доносились детские голоса. Голосов было несколько, а он знал, что у хозяев только один ребенок.

В этот миг из-за угла амбара вышел какой-то малыш и засеменил по тропке в сторону риги. Его волосы сияли на солнце, словно лен, и легкие прядки колыхались в такт шажкам. Это был мальчик.

Человек стоял неподвижно и глядел на мальчика. Кадык шевельнулся от судорожного глотка. Много времени прошло с тех пор, как он в последний раз видел ребенка так близко. Вот тут, перед ним, ребенок, живой, пухоголовый, удивительно крохотный человечек...

Но тут мальчик заметил большого дядю. Он остановился и уставился на него круглыми темно-синими глазами. Потом поднял руку и сунул в рот большой палец.

В глазах человека мелькнула лукавая и в то же время настороженная улыбка. Будто обращаясь к птичке или к белке, он слегка вытянул шею и мягко-мягко шепнул:

— Иди сюда, подойди поближе, дядя не сделает тебе ничего плохого...

И малыш подошел, бесстрашно подошел к нему вплотную, перебирая маленькими ножками. Человек глубоко вздохнул и поднял его на руки. Ребенок был поразительно легок. Сквозь тонкие волоски розовела кожа. Щеки и руки были нежно-коричневые, кожа мягкая и шелковистая, на виске виднелась голубая жилка.

Человек сел у пристенка, осторожно держа ребенка, губы его улыбались как-то беспомощно.

— Вот так, вот так. Чей ты сын? Как зовут маленького мужчину? Или ты еще не умеешь говорить, а?

Мальчик не отвечал, не мигая, закинув голову, глядел он в лицо незнакомого дяди. Затем протянул руку и запустил свои пальчики в кудрявую бородку.

Человек тихонько усмехнулся.

— Вот как, тебе нравится моя борода? Ну что ж, тяни, тяни покрепче этакую бородача. Так его, так...

Он осторожно опустил свою большую коричневую ладонь на волосы мальчика. Рука обхватила маленькую головку, почувствовала ее хрупкость и тепло.

На ребенке была не по росту большая вылинявшая рубашка. Человек взгляделся в ее косые клетки и внезапно вздрогнул. Эта рубашка... это же, рубашка его старшего сына! Он начал торопливо вглядываться в лицо мальчика, изучать каждую черточку — и почувствовал, как кровь хлынула ему в голову.

Он был так взволнован, что даже не заметил, как мальчик соскользнул на землю. Человек быстро поднялся, потом снова опустился на корточки и спросил шепотом:

— Как тебя зовут? Скажи дяде! Как твое имя?

Мальчик молча поглядел на него, потом сказал:

— 'эйки...

У человека сдавило горло. Он схватил малыша за плечи и на один миг судорожно прижал к груди. Беззвучное рыдание сотрясло его тело.

Но тут со двора донесся голос его старшего сына:

— Хэйкки! Куда он делся? Хэйкки, идем домой!

Человек поднял голову, на лице его снова появилась настороженность. Матти не должен его видеть. Те скоты снова начнут мучить его, и мальчик может не выдержат... Наверное, и жена его сейчас в этом доме...

Он задумался на мгновение, затем быстро поднялся.

— Хэйкки, тебя зовет Матти. Иди, слышишь, брат  
зовет...

Какого черта! Он же плачет! Мальчик перед ним  
расплаывается, словно в тумане. Человек снова глотнул  
и усиленно поморгал.

Ребенок внимательно глядел на него. Потом повер-  
нулся и засеменил в сторону двора. Вдруг он остано-  
вился, наклонившись, дотянулся пальчиками до желто-  
го лютика, сорвал его прямо с корнем.

— Твенок... — пролепетал он, обернувшись.

Человек делает несколько шагов, берет цветок из  
рук ребенка.

Детские голоса приближаются.

— Хэйкки! Мама велела...

— Иди же, — хрипло произнес человек. — Ну иди,  
иди!

И, повернувшись, он бросился в сторону леса. Чело-  
век бежал нетвердым шагом, шатаясь, точно во хмелю.

## Десятка за урок

Уже во время рождественских каникул с частью де-  
вочек старшего класса произошла удивительная пере-  
мена. Их до этого гладкие и милые девичьи волосы те-  
перь свисают на плечи, точно кудель. На уроках они  
томно смотрят перед собой полуприщуренными глаза-  
ми из-под тщательно выщипанных бровей, при ответе  
как-то странно изгибаются, на переменах без стеснения  
сыплют словечками, которые до сих пор в школе по-  
чти не бытовали. А кроме того, как стало известно, по  
вечерам они прогуливаются с мальчиками.

Другая группа учениц, которых называют «свято-  
шами», смотрит на этих «порочных» еще более испуган-  
но, чем раньше. С помощью английских булавок они  
стягивают свои лифчики, чтобы не было заметно, что  
они уже не маленькие девочки, и сидят за партами,  
сгорбившись, с таким видом, словно решили стать мо-  
вешками.

Кроме этих двух, в классе есть еще пестрая проме-  
жуточная группа: одни посмеиваются над «святошами»



и презируют «порочных», другие восхищаются «порочными», но во избежание угрызений совести льнут к «святошам».

А все вместе эти старшеклассницы, по мнению учителей, сложные, пребывающие в самом трудном возрасте существа: уже не дети, но пока еще и не женщины; тем не менее их нужно как-то протащить через последний класс.

Когда учебный год приближается к концу и начинаются экзамены, многим ученикам, как правило, приходится усиленно наверстывать упущенное. Состоятельные нанимают репетитора по математике и языкам; а отстающие из бедных семей зубрят отчаяннее прежнего, просиживают весенние дни с посеревшими лицами за единственным в доме столом, среди груды немытой посуды, где еле-еле хватает места для их локтей и школьных принадлежностей, и, заткнув пальцами уши, выкрикивают немецкие глаголы, стараясь перекрыть немолчный гвалт, поднимаемый младшими братишками и сестренками.

Эти нудные, бесконечные экзамены омрачают весеннее небо, и когда девочки во время перемены стоят, прислонившись к кирпичной стене школы, за их закрытыми веками водят свой хаотический хоровод желтые солнечные блики вместе с недоказанными геометрическими теоремами.

Вот стоят рядышком Пиркко Алхо и Сиркка Райтанен. Они очень разные по характеру и не такие уж задушевные подруги, но хорошо ладят между собой, несмотря на то что Пиркко относится к «порочным», а Сиркка — к промежуточной группе.

Лицо у Сиркки угловатое, волосы прямые, в ее больших светло-серых глазах застыло недоверчивое выражение, а нижняя губа часто оттопыривается. Одета она в поношенное демисезонное пальто, пуговицы которого не застегнуты, на голове берет, на ногах слишком большие, не по ноге, мальчишковые полуботинки.

У Пиркко же, которую в классе называют Пипса, пышные, вьющиеся волосы, глаза с узким разрезом и густые темные ресницы. Свою овчинную шубку она носит всегда нараспашку, голова не покрыта, на ногах туфельки на высоких каблучках, а на щиколотке — ремешок от ручных часов. У нее мяукающий голосок;

вначале он вызывает удивление, но потом к нему быстро привыкаешь, а многие даже считают его прелестным. Вот и сейчас, когда она, греясь на солнышке, вдруг мяукает, заводя разговор с Сирккой, проходящий мимо дежурный учитель — седовласый преподаватель шведского языка в старших классах — вздрагивает и бросает на девочек удивленный взгляд.

Родители Пипсы состоятельные, и теперь она спрашивает у Сиркки, которую в учительской называют «бедной, но способной», не желает ли она дать ей до экзаменов несколько уроков по геометрии. Сиркка открывает глаза, и они, обычно ласковые и прозрачные, темнеют, когда она задумывается над вопросом. Она недоверчиво взглядывает на Пипсу. Уроков в это время года она может давать много, и деньги за них всегда бывают дома очень кстати, но иные ученики настолько тупы, что все ее усилия кажутся безнадежными. Ведь если они провалят экзамен, она потеряет свою репутацию хорошего репетитора.

Пипса, правда, не тупа, она просто безалаберна. Вместо того чтобы отправляться каждое утро в школу, как другие, она остается в постели и читает Мику Валтари \* или что-нибудь другое того же сорта. Она умело пользуется мяукающим голоском и густыми ресницами, так что заставляет расчувствоваться свою мать.

— У бедя такой ужасный дасборг, — заявляет она матери и смотрит на нее томными глазами.

— Да, детка, ты и вправду сегодня бледна, тебе лучше остаться в постели, — обеспокоенно говорит в таких случаях мать. Пипса не считает нужным признаться, что до трех часов ночи читала «Зеленую шляпу», она лишь удовлетворенно мяукает, а после ухода матери вытаскивает из-под одеяла роман и продолжает читать. Придя на следующий день в школу, она, посмеиваясь, рассказывает об этом своим подружкам, возбуждая негодование добродетельной части класса.

Сиркка думает обо всем этом, ковыряя носком широкого ботинка мокрый песок школьного двора.

— Ну, ладно, так и быть, — соглашается она нако-

---

\* Мика Валтари — современный финский буржуазный писатель.

нец, — но только ты сама должна всерьез стараться, иначе ничего не получится.

— Разумеется, буду стараться. Надоели эти переэкзаменовки, они мне все прошлое лето испортили.

Рассказывая о том, каково ей было в августе, в самый разгар танцев под гармошку, уезжать из деревни в город, Пиркко вворачивает такое словечко, которого в школе и не услышишь. Затем добавляет:

— Сколько ты берешь за урок?

— Десятку.

— Идет. А как ты хочешь: получать за каждый урок или потом все сразу?

Сиркка оттопыривает нижнюю губу и размышляет. Лучше бы, конечно, за каждый урок, потому что дома вечная нужда в деньгах, а десятки как-никак хватит на покупки в молочной.

— Может, лучше за каждый урок, чтоб не разводить бухгалтерию, — бормочет она.

После окончания утренних занятий они бегут в быстром девичьем потоке вниз по лестнице. На площадке стоит директриса, величественная женщина в черном платье, и с каменным лицом оглядывает своих воспитанниц, как королева — подданных. Девочки вместе протискиваются к вешалке, вместе выходят на улицу и идут рядышком по талому вешнему снегу.

Ноги у Сиркки мокрые. Нос от насморка красный. Она старается обходить лужи и озабоченно смотрит на свои ботинки. Они куплены за двадцать марок в переулке Агриколы, в лавке старьевщика, где пахло гнилью и вином и где хозяин ущипнул ее за ногу, когда она примеряла ботинки. Если приходится ходить бедно одетой, так надо по крайней мере из этого сделать свой особый «стиль»: лучше носить старые мальчишковые полуботинки и приличный берет, чем плохонькие женские туфли и старую фетровую шляпу тети Анны.

Она бросает взгляд на ноги Пипсы. Та тоже без бот. Пипса живет близко от школы, выскакивает из дому всегда в последнюю минуту, а мать остается в передней, держа в руках ботики, и обеспокоенно глядит вслед дочери. Сиркка смотрит на ноги Пипсы, и ее вдруг начинает раздражать ремешок, обвивающий щиколотку.

— Послушай, зачем ты его носишь?

Пипса смеется восторженно:

— Задаю моду, неужели не понимаешь! Эй же уже носит такой же, а скоро и все начнут. Разве ты не помнишь: стоило мне осенью прийти в школу в переднике, как все девчонки сразу стали тоже носить передники. Ну, теперь-то их надевают только «святоши».

Ни с того ни с сего она вдруг останавливается прямо в луже талого снега и, держась за живот, хихикает:

— Как ты думаешь, дали бы мне училки носить кольцо в носу? У матхен есть вот такая большая серьга, которую можно было бы продеть в нос. Вот была бы мода!

Последние слова она прямо-таки провыла, изнемая от смеха. Ее веселье заразило Сиркку, она тоже начинает хохотать, сама не зная почему: потому ли, что смеется Пипса, или потому, что та стоит, увязнув в талом снегу, или потому, что с крыши каплет... Весна... Мимо проходит средних лет женщина, смотрит на них сперва безразлично, затем осуждающе и возмущенно фыркает.

— Ты заметила ту старую деву? — прыскает Пипса.

Они снова смеются и, держа друг друга за руки, весело перебегают улицу. Когда промчавшийся мимо них автомобиль окатывает ноги Пипсы искрящимся на солнце фонтаном брызг, это вызывает новый взрыв хохота.

Потом Сиркка останавливается на тротуаре, вытирает нос и выступившие на глазах слезы и говорит:

— Ну, теперь и ты наверняка заработаешь себе жуткий насморк.

— Чудесно! Тогда я снова буду валяться в постели, — мяукает в ответ Пипса. — Насморк бледнит. Губы обветриваются и краснеют. Я буду бледной и с ярко-красными губами, как Ирис Сторм. «Ее темно-красные уста пылали, словно мак в сумерках», — цитирует она и спрашивает у Сиркки:

— Тебе нравится?

— Что, эта книга? Ничего. Только, знаешь, меня немножко злят ее похождения.

— Почему? — мяукает удивленно Пипса.

Некоторое время Сиркка шагает молча.

— Все это в общем-то дрянь... — хмуро говорит она затем, но ничего больше не добавляет. Все равно ведь

та, что идет с ней рядом, не поймет, почему многие книги злят Сиркку. В них никогда не рассказывается о таких людях, как она сама или среди которых она живет. А если и встречаешь их в романах, то это обычно какие-то второстепенные персонажи и к тому же вызывающие только жалость. В книгах для старших школьников главными героями всегда являются дочери профессоров, или адвокатов, или директоров, они ходят в кондитерскую Фацера, едят там пирожные и непринужденно болтают. А если в книге и появляется некто «бедный, но способный» — лицо Сиркки даже темнеет от обиды, когда она думает об этой характеристике, — то это всегда существо ограниченное, убогое в своих чувствах, оно прямо-таки скрипит от собственной сухости и добродетельности. Сие существо на многих страницах книги из сил выбивается ради своей несчастной, больной матери. А потом те, другие — веселые и добросердечные пожиратели пирожных — неожиданно замечают их нищету и приносят для больной матери лекарства в бедную, но опрятную квартирку на окраине города. «Эх, черт, — негодует Сиркка в душе, — сунулись бы только ко мне со своей благотворительностью!»

— Чего это ты насупилась? — спрашивает Пипса.

— Да насморк совсем замучил, — отвечает Сиркка.

Пипса забыла ключи от квартиры и нажимает кнопку звонка. Им открывает горничная в белой наkolке. Сиркка испуганно пятится, когда та пытается помочь ей снять пальто. Еще заметит, что подкладка разорвана.

Несмотря на насморк, Сиркка ощущает, что пахнет здесь приятно. Она украдкой глядит по сторонам и видит в соседней комнате огромные стеллажи. Пипсе не нужно бегать в библиотеку и читать книги, на страницах которых ты обнаруживаешь следы раздавленных клопов.

Она еще раз вытирает нос и причесывается перед зеркалом, где видит себя во весь рост: юбка слишком коротка, рукав джемпера на локте почти совсем протерся. Только бы не забыть об этом и не сгибать руки без нужды.

— Привет, матхен. Это Сиркка, о которой я говорила. У нас урок, но сначала дай нам поесть.

Сиркка делает книксен. Она выше госпожи Алхо. Та выглядит гораздо моложе матери Сиркки. Только

волосы седые. У нее такие же густые ресницы, как у Пипсы, а глаза более светлые, будто чуть полинявшие, и немножко грустные. И она не мяукает, когда говорит:

— Как мило, что ты пришла помочь Пиркко. Она так много болела в этом году.

Госпожа Алхо смотрит на дочь с нежной заботливостью и слегка обеспокоенно, видно, что она восхищается ею. Совсем как матери в романах, думает Сиркка. Теперь она, конечно, поцелует свою доченьку: ведь они не виделись целых три часа! Лицо Сиркки становится багровым, она отворачивается, как будто затем, чтобы достать из сумки учебники математики.

Но госпожа Алхо только проводит рукой по волосам дочери.

— Ох, опять ты носилась так, что вся вспотела, — говорит она с упреком.

Они проходят в столовую. Сиркка чувствует, как начинают потеть ее руки, когда горничная приносит тарелки и для нее. Сумеет ли она справиться с едой, не оплошает ли? Что здесь едят сначала? Кашу? Слава богу, что это только завтрак, и еды, кажется, немного. Маленькая мисочка жареного картофеля. Неужели они всегда едят так мало?

— Ну, девочки, произошло ли сегодня в школе что-нибудь интересное? — спрашивает госпожа Алхо, расправляя на коленях салфетку.

— Ага-а-а! — отвечает Пипса с куском булки во рту. — Злюка растянулся сегодня на перемене как раз перед самой лестницей и избавил нас от послеобеденных уроков. Да постигнет такая участь всех учителей! Аминь!

По лицу госпожи Алхо пробегает понимающая улыбка.

Сиркка решает держаться уверенно и смело. Она отбрасывает рукой челку и начинает оживленно рассказывать о том, что произошло на уроке закона божьего. Пастор Ахвен отвлекся от темы и заговорил о душе. А потом спросил: «Допустим, что самостоятельное существование души можно отрицать, а существование чего же все-таки бесспорно?» Лаура Пассо тут же тянет руку. У нее всегда такая манера — тянуть руку, когда еще не уверена или даже совсем не подумала, что отвечать. И когда пастор вызывает ее, она стоит

некоторое время растерянная, бессмысленно тараща глаза, а потом то-о-ненько так лепечет: «Се-сердца».

Пипса на другом конце стола раздражается смехом, хотя в школе уже вдоволь посмеялись над этим, и куски картошки вываливаются у нее изо рта прямо на салфетку.

— Ай-яй, детка, как же это ты, — укоризненно говорит госпожа Алхо, а сама тоже улыбается.

Тут Сиркка спохватывается, что ее собственная салфетка лежит около тарелки без употребления. Она берет ее так поспешно, что роняет нож. К счастью, госпожа Алхо все еще смотрит на Пипсу, подавляя улыбку. Потом опять становится серьезной, ест, задумчиво глядя в свою тарелку, словно совершенно позабыв о девочках.

Что ее печалит? — размышляет Сиркка, чувствуя, что ей нравится эта красивая женщина. Может быть, у нее какое-нибудь тайное горе? А может быть, ее муж пьет и семья на пороге разорения...

Уцепившись за эту ниточку, фантазия Сиркки моментально начинает пряхать дальше. Каждый день им досаждают кредиторы. Вот и сейчас раздастся звонок, и заимодавцы толпой ворвутся в квартиру. Ничего не поделаешь, придется объявить себя банкротом. Все пойдет с молотка: дубовые шкафы и эти стулья, на которых они сидят, быть может, в последний раз. Пипса придет в школу с заплаканными глазами, и учителя будут смотреть на нее с сочувствием и будут с ней деликатны, как с Нанной, когда ее отец, директор банка, совершил растрату и попал за решетку. Сейчас в тюрьму попал отец еще одной девочки. Но отец Кирсти Луома сидит за то, что он коммунист, и это не вызывает ни у кого сочувствия. Учитель истории каждый раз смотрит на Кирсти осуждающе, рассказывая о злодеяниях красных. А вот Пипсе наверняка сочувствовали бы, и ей бы это нравилось. Ей не нужно было бы учить даже домашних заданий: смотри себе в окно с отсутствующим и трагическим выражением лица и делай вид, что вопрос учителя заставил тебя вздрогнуть и очнуться. А на перемене она, хихикнув, хлопнула бы ресницами и промяукала:

— Банкротство нынче модно.

Теперь они добрались до каши — стало быть, здесь ее едят в конце. Госпожа Алхо придвигает Сиркке

полную тарелку каши. Девочка благодарит и берется за тарелку обеими руками, но сразу же вспыхивает и ойкает. Тарелка горячая, жжет руки.

— Ай-яй, — восклицает госпожа Алхо. Она смотрит как-то странно, и тогда Сиркке становится ясно: каша предназначена всем, в этой тарелке она стояла на горячей плите. От стыда у нее даже взмокла спина. «Вот дура», — ругает она себя в душе и пытается спасти положение шутливым признанием:

— Надо же, а я собиралась съесть все это одна!

— Ешь на здоровье, деточка, если тебе хочется. — Госпожа Алхо дружески улыбается. Щеки у Сиркки пылают.

— Ну, нет... Что вы, — запинаясь, бормочет она. — Просто я урасно жассеянная.

Вот опять! Как только она начинает нервничать, слоги в словах сами собой переставляются.

— Это верно, — провозглашает Пипса. — Зато из тебя выйдет профессор.

Сирikka отправляет в рот остатки микроскопической порции каши и энергично отказывается от добавки, хотя она все еще страшно голодна. Удивительно, как люди могут так мало есть! Пипса вообще не дотронулась до каши: она стремится быть изящной.

— А что ты, Сирikka, делаешь, когда хочешь что-нибудь получить, я имею в виду — от родителей? — спрашивает Пипса, складывая салфетку.

Сирikka не совсем ее понимает.

— Послушай, знаешь что, не ешь! — восклицает Пипса и победоносно смотрит на мать. — Если я что-нибудь клянчу у своей матхен, я отказываюсь есть. Тогда она готова сделать все что угодно, лишь бы я не голодала.

Теперь Сирikka поняла. Внутри у нее что-то начинает трястись от безудержного смеха. Она пытается мысленно представить свою мать, озабоченную тем, что ее дочь отказалась от подливки и картофеля, потому что ей, видите ли, не купили новых чулок.

Наконец они переходят в комнату Пипсы и делают там построения для теоремы о трех замечательных точках треугольника. Только теперь Сирikka облегченно вздыхает.



— Так вот, слушай. Если углы при основании треугольника разделить пополам, то угол АОС равен сумме углов при основании.

Голос Сиркки во время объяснения становится дошкольному звонким и натянутым, как будто она доказывает теорему у доски.

— Нет, обожди-ка, у меня что-то все перемешалось. Если этот угол равен тому углу, то как же, черт возьми... Ах, да, да, там эти параллельные прямые. Ясно.

— Так. Только не говори: этот угол, тот угол. Лучше говорить так, как полагается отвечать у доски.

— Ой, на это ж нужно столько времени! Ну, ладно. Пипса начинает все снова и без ошибок доказывает теорему от начала до конца. Сиркка задумчиво глядит на нее.

— Послушай, зачем я тебе нужна? Ты и сама все это знаешь, если немного подумаешь.

— Не-ет, на это ж нужно столько времени. Гораздо проще, когда ты объясняешь. Ворону мне лень слушать. Вернее, я слушаю, но только ее голос: «Абазначим на даске этот асоба интересный пример на умнажения...»

Пипса, смеясь, подбрасывает расческу, потом вдруг сворачивается клубочком в кресле, кладет голову на подлокотник и тихонько хихикает.

Сиркка смотрит на ее волосы. Солнце падает прямо на них и придает им удивительные оттенки и отливы, от синего до огненно-красного и золотистого. Сиркка вдруг остро чувствует, как некрасива она сама. К тому же на лбу у нее два прыщика, а нос покраснел от насморка.

— Слушай, Сиркка, тебя когда-нибудь целовали? — неожиданно спрашивает Пипса, откидывая назад волосы.

Сиркка растерянно моргает. Она и сама много раз думала об этом. Ее никогда не целовали. Ни мать, ни тем более отец: у них в семье это не принято. Но однажды, много лет назад, ей захотелось узнать, что это такое, и она поцеловала сама себя в зеркале. Она отчетливо помнит это. Потом ей было страшно стыдно, никогда в жизни она никому не расскажет об этом.

— Нет, — отвечает она и добавляет немного чужим голосом: — А тебя?

Пипса делает гримаску.

— Да-а. Прошлым летом раза два. И этой весной. Сперва мы были на катке — Эва, я и два мальчика. Потом мы пошли к Эве, потом погасили свет в ванной комнате, а потом целовались.

— Ну и как? — спрашивает Сиркка деланно равнодушным тоном: пусть Пипса не думает, что на нее это произвело какое-нибудь впечатление.

— Главным образом мокро.

«Старая шутка», — презрительно думает Сиркка. Но все же у нее такое чувство, какое бывает, когда читаешь в книгах эротические места.

— Пройдем-ка еще тупые углы, ведь тебя тогда не было на уроке.

— А ну их! Экзамены только на будущей неделе. Ой, какой ужас, мне же надо еще зайти к Эве. Послушай-ка, почему ты не сделаешь себе перманент?

— Я-то? — переспрашивает Сиркка и кривит рот.

— Да. Хотя, впрочем, прямые волосы подходят к моему стилю.

Вот оно, опять «ее стиль». Ну конечно, к «ее стилю» подходят мальчиковые полуботинки, прямые волосы и поношенное пальто. И ногти без маникюра, и берет, лихо сдвинутый набок. Не ремешок на щиколотке, и не прекрасные вымытые хной волосы, и не поцелуи в ванной комнате. Дома и ванной-то нет. Дома, дома... Вспомнит ли эта про десятку? Просить я, конечно, не стану...

Сиркка смотрит на Пипсу с неудовольствием, но и с любопытством, словно пытаясь разгадать ее. Пипса славная, она не глупая, вовсе нет. Но как хотелось бы взять ее за плечи, встряхнуть хорошенько и сказать: «Эх, ничего-то ты не по-ни-ма-ешь!»

Пипса провожает ее в переднюю.

— Когда мне снова прийти? Или в школе договоримся? — спрашивает Сиркка, натягивая пальто осторожно, чтобы не попасть рукой в дырку.

— Договоримся в школе.

В соседней комнате звонит телефон. Теперь она, конечно, побежит к телефону и забудет про десятку, думает Сиркка. Но госпожа Алхо сама подходит к телефону. «Нет дома, — коротко отвечает она. — Пожалуй-ста». Потом выходит в переднюю попрощаться.

— Пиркко, ты не забыла... — Она человек деликатный и не договаривает.

— А, черр... — Пипса роется в своей сумочке.

— Детка, когда ты избавишься от этих выражений?

— Разве что их вместе с языком у меня оторвут!

Принимая ассигнацию, Сиркка снова чувствует, как ее заливают волна унижения. Надо же! Эта мать из романов видит, как она получает десятку. Подумает еще, что это много. Даже магистры дают теперь уроки всего за пятнадцать марок, а ведь Пипсу, собственно, и учить-то не надо.

Уходя, она чуть не падает, споткнувшись о коврик у дверей.

Почему так трудно принимать деньги? Ведь она совсем не считает преподавание чем-то противным и унижительным, напротив. Если только не попадаются совершенно невозможные ученики, в чьих глазах светится безнадежная пустота, когда просишь их доказать то, что только сию минуту наиподробнее образом им разжевала. Если б можно было не брать денег! Просто так, ради удовольствия раздавать знания и помогать другим, как, например, в школе перед началом уроков! А тут, когда это заработок, всем сразу становится ясно, что ты не можешь без денег обойтись. Они нужны на молоко, на хлеб, на картошку. И даже эта десятка тебе дорога.

Бумажка шелестит в варежке. Ботинки хлюпают по мокрому тротуару, а рядом спешит под гору веселый ручеек.

А что, если бросить десятку в канаву и посмеяться вслед: плыви, мол, себе! Она бы комочком доплыла до водосточного люка, упала в него и постепенно превратилась в кашицу. Ну, да там хватает и без нее всякого мусора.

А может, пойти в кондитерскую Хартелля, купить там пирожных «картошка» и съесть их сразу дюжину, в один присест...

О-о-ох... Десятка остается шелестеть в варежке. Скоро Сиркка придет домой и положит ее словно невзначай перед матерью. Мать чуть-чуть вытянет шею, ее брови приподнимутся, так что красивый лоб — ни у кого нет такого красивого лба, как у матери, — слегка

соберется в складки, и она, обрадованная, потрет нос: ишь ты... И Сиркка сама не будет знать, довольна она или раздосадована, ненавидит или любит все вокруг.

Мальчиковые полуботинки энергичнее стучат по тротуару. Нескладная, несформировавшаяся фигурка кутается в пальтишко. Лицо угловатое и задумчивое, такое, что поцеловать его не придет в голову ни одному встречному лицеисту.

## **Тетушка Пуссинен, женщина, достойная уважения**

Тетушка Пуссинен живет на краю деревни, в полу-сгнившей избенке, которая едва ли заслуживает названия человеческого жилища. Кругом болото и трясина да чахлый молодой лесок — тот довольно угрюмый и неприветливый пейзаж, что в стране Суоми частенько стремится окружить бедняка. Она человек уже пожилой и напоминает крепкий кряжистый ствол, на котором время оставило довольно заметный отпечаток. А язычок у нее такой, что человек, вкусивший цивилизации, только ахнет, услышав ее витиеватую тираду, в которой угрозу «размозжить череп паршивому ублюдку» вовсе не следует принимать за чистую монету.

И все же тетушка Пуссинен — одна из самых достойных уважения женщин на этой земле.

Наипервейшей ее заслугой является то, что неприветливая и суровая страна Суоми наполнилась множеством Пуссиненов. Большую часть своей цветущей молодости эта женщина проходила беременной, широко расставляя ноги и с обещающе вздернутым животом. Лучшая пора ее жизни была наполнена детским писком, ревом, укачиванием и запахом грязных пеленок. И вот таким-то образом страна Суоми с течением времени наполнилась множеством Пуссиненов, этим известным родом, от стука топоров и шипения пил которого звенят леса всей Финляндии; тем самым родом, который пошел в грохочущие, дымные и вонючие заводы; тем родом, сынов которого хватило даже на то, чтобы героически пасть на поле брани...

Обширен и велик этот род. Тетушка Пуссинен была отнюдь не маловажным лицом в деле его увеличения.

Свыше дюжины Пуссиненов — довольно солидный результат ее трудов, к тому же с преобладанием Пуссиненов мужского пола, складу здорового и бойкого — в свою мать. И, конечно же, в своего отца — дядюшку Пуссинена, который, орудуя топором, пилой, мотыгой и лопатой, давал возможность ораве маленьких Пуссиненов расти и крепнуть. Но тут нужны были и женские руки, и не обычные, а руки самой достойной женщины. Ибо воспитание Пуссиненов включало в себя столько трудов и забот, что всего и не перечислишь. Надо было сварить не один горшок каши, да на каких дровах — на сучьях да на гнилушках, наспех собранных в лесу, — вот когда тетушке приходилось пускать в ход свой язычок, чтоб огонь живет разгорался. А на каком очаге? — который наполнял дымом всю избу, прежде чем сучья наконец начинали трещать. А сколько было сварено дымящихся картофелин, ведь у каждого Пуссинена был рот, куда вмещалось немало и откуда вдобавок исходил такой мощный крик, что за версту оглушит. А сколько раз тетушка Пуссинен брала в руки черный кофейник — единственный предмет в избе, напомиравший о том, что на свете существует роскошь.

Кроме полуторы дюжины бездонных ртов, в хозяйстве Пуссиненов был еще хлев, мрачный, черный и затхлый, как пещера. Там жевали сено две-три коровенки и печально блеяли несколько овец. И их, этих божьих тварей, тоже надо было кормить и ходить за ними, так как они давали по капле молока в кружки маленьких Пуссиненов. Как истинная хозяйка, тетушка Пуссинен умудрялась иногда даже сбить кусочек масла — бледного бедняцкого масла, круто приправленного солью.

Потом она чесала и прядла шерсть, прялка крутилась, а на коленях лежал и сосал грудь самый маленький Пуссинен. Потом штопала и латала одежду, в первую очередь дядюшки Пуссинена, а затем и подраставших Пуссиненов, когда и тем подходило время отправляться на работу в сердитые зимние леса страны Суоми. У маленьких же Пуссиненов не было ничего на теле, кроме рваных рубашонок и дырявых штанишек. Но этого вполне хватало, чтобы забежать за угол дома...

И еще тетушка Пуссинен стирала, без конца стирала детские пеленки и многое другое. Хлюпала вода, и тряпье только попискивало в ее грубых потрескавшихся

руках. Этой работы тоже было хоть отбавляй: ведь Пуссинены принадлежат к роду, который выделяет много пота и грязи. Потом она скребла полы в избе, где из стертых половиц выпученными глазами торчали твердые сучки. Все это она делала потому, что, какой бы тяжелой ни казалась порой жизнь, тетушка Пуссинен всегда продолжала верить, что воды на земле куда больше, чем дерьма...

Она трудилась и в поле под открытым небом, косила и сгребала сено, вязала веники на корм скотине, склонялась с мотыгой над картофельной грядой или с серпом над ячменным полем, которое было таких размеров, что легко уместилось бы под бабьим подолом. Потом быстро собирала вязанку сучьев и торопливо шла в избу, где орали маленькие Пуссинены...

Но и это было не все. Она успевала еще на работу к чужим — шла на заработок, на поденщину. Потому что и впрямь маленьких Пуссиненов было много и рты их были бездонны. Тетушка Пуссинен работала на полях зажиточных хозяев, проворно стирала у богатых белье, чесала шерсть, собирала ягоды. А когда она драла лыко — деловитая, бойкая, сильная и к тому же еще языкастая, — она являла собою прямо-таки примечательное зрелище. Чудо просто, а не баба! Вот она ловко обламывает иву, потом своими сильными ногтями сдирает отстающую ивовую кору, будто кожу сдирает. Ярко белеют оголенные ветки, около которых топчутся маленькие сопливые Пуссинены, воображая, что помогают матери, а она знай себе дерет лыко и честит все на свете. А в избе самые меньшие не могут дожидаться, когда мать появится на опушке ивняка. Наконец она приходит, сбрасывает на землю надранную кору и уже тащит в избу ведро с водой и тут же принимается кормить грудью. И была она в ту пору такой бабой, что любо-дорого посмотреть. Поистине, всяким там болезням в этом доме нечего было делать... Не только летом, но и зимой, по промерзшей земле, бегала она босиком, потому что на ногах у нее выросли такие подошвы, что крепче и в дубильном чане не сделаешь. Она преспокойно ходила босиком даже по льду, глуша топором налимов на уху своим Пуссиненам.

Вот какой матерью была тетушка Пуссинен. Почти все самые лучшие свои годы она проходила беременной,

широко расставляя ноги и с обещающе вздернутым животом; непрерывно кормила грудью и безостановочно работала языком. Выразительно звучала ее образная речь, и в промежутках между родами и хозяйственной суматохой она щедро рассыпала звонкие смешки, приправляя ими свою нелегкую долю.

Скажут, пожалуй, что весь ее труд, ее стряпня, ее стирка и заплатки — все это скоро испарится и исчезнет. Что надранное ею лыко давно уже сгнило в чане дубильщика, и с подошвами, которыми дубильщик, по имени Бедность, одарил босые ноги тетушки Пуссинен, когда-то случится то же самое. Все это так, однако выше дюжины Пуссиненов — дело другое. Они живут и будут жить. И много раз еще их сильные мужские руки заставят топоры зазвенеть в бескрайних лесах страны Суоми.

## **Заток на двери Тээриахо**

Настала зима, суровая и морозная. Темно поблескивали замерзшие озера. Сверкавшая звездами ночь выпила досуха лужи под ломкой ледяной коркою и впечатала в дорожную грязь следы подошв и колею последних тележных колес.

Это начало зимы было суровым и морозным также для крестьянина-новосела Антти Тээри. Вдобавок к естественной в это время года стуже над его избой во всей своей лютости навис мировой экономический кризис. Собственно, дело зашло настолько далеко, что слова «крестьянин Антти Тээри и его хозяйство» звучали теперь как злая насмешка. Легкий удар железного молоточка возвестил сегодня, что Антти Тээри не владел более землей, что для него эта зима заморозила окружающие избу поля навеки.

Для человека такого склада, как Антти Тээри, это означало и щемящую боль, и опустошенность, и крах всех надежд. Маленькая усадьба и Антти Тээри оставались как будто вполне реальными величинами. Но легкий удар железного молоточка разъединил их. И по-



этому было странно, что в Антти Тээри не произошло никакой зримой, физической перемены: ведь этот дом и его недавний владелец были, так сказать, сямскими близнецами...

Антти Тээри свято верил, что он хозяин своей маленькой усадьбы и останется им до самой смерти. Когда его вводили в право владения, его хозяйство было признано безупречным. Долги у него, правда, имелись, но с ними все-таки можно было жить, лишь бы вовремя уплачивать проценты; а вот когда земля начнет по-настоящему давать доход, можно будет по-настоящему взяться за долги и потихоньку расквитаться.

В течение многих лет все шло довольно гладко. Изба и другие постройки были обновлены, запущенные прежним хозяином поля приведены в порядок и расширены. Трудно было в этом образцовом хозяйстве узнать тот участок, которым безземельный Антти Тээри стал владеть с помощью поручителей после своей женитьбы. Правда, долги никак не сокращались, а скорее росли: не мог Антти равнодушно видеть беспорядок. Получить же кредит было легко, требовалась лишь подпись поручителей. С деньгами его хозяйство быстро расцвело. Теперь все было налажено, Антти решил приняться за сокращение долгов.

И тут наступила пора, которая называется кризисом. Деньги вдруг исчезли куда-то, их невозможно было добыть уже никакими подписями поручителей, да и поручителей было не сыскать. Более того, у Антти стали требовать немедленного возвращения прежних долгов, тех денег, что были вложены в клочки полей, в стены строений; да и мало ли на что они пошли. Как их превратишь снова в деньги? Цена на масло падала, плата на побочных заработках стала до смешного ничтожна, а хлеб-то ведь надо было покупать! Проценты все росли, и в конце концов он оказался не в силах с ними справиться. Уже не раз, в раздумье почесав затылок, он резал дойную корову или предпринимал еще что-нибудь вопреки дальнейшим хозяйственным планам. Но вот настал момент, когда поручители, сами кое-как сводившие концы с концами, заволновались.

Вот почему сегодня свершилось то, чего Антти Тээри давно уже опасался, однако же вопреки всему

считал невозможным и надеялся каким-то чудом избежать. Молоточек ударил. В его жизни и в его душе произошёл обвал, крушение.

Земли усадьбы Тээриахо, дом, скот и большая часть движимого имущества перешли в руки других. Правда, бывшему хозяину разрешили пожить в доме несколько недель; но все здесь казалось Антти теперь иным, все угнетало, давило. Сразу после аукциона он погрузил остатки пожитков на телегу того человека, которому досталась его лошадь. Жена и четверо ребятишек пошли следом за возом. Они направились в другой конец деревни, в баню Пекки-Быка, где Антти Тээри с семьёй разрешено было временно поселиться.

Стук колес на скованной морозом дороге уже замер, а Антти Тээри все сидел на скамейке в опустевшей, голой избе. Его трубка была набита самосадом, который, потрескивая и шипя, бросал в воздух искры.

В душе Антти Тээри произошло как бы посветление: будто вдруг сдернули занавес, и Антти увидел на сцене то, что всегда было близко ему, но что скрывал от его глаз какой-то странный покров. Теперь он убедился, что в сем мире возможна самая жестокая несправедливость. Ибо этот день был для него днем большой несправедливости и унижения, днем, который, может быть, является началом его конца и, уж во всяком случае, надолго лишает его жизнь радости.

А он-то верил, что и вправду является патриотом, что когда-то и впрямь сражался за свободу и независимость своей родины. Да, сначала все шло хорошо. Безземельным стали давать участки. Поскольку Антти Тээри слыл хорошим работником, хозяева решили поддержать его, чтобы с помощью поручительства и займов он мог стать самостоятельным земледельцем. И вот результат: участок Тээриахо точно отмыл свое лицо. А вот еще результат: творец всего, тот, чьим трудом создана усадьба, должен теперь убраться отсюда. Плоды всех его стараний были отобраны, достались другим. А он, хозяин, уходил, таща за собой вечный хвост непоплаченных долгов.

Антти было трудно смотреть на происшедшее глазами своего знакомого, рабочего-социалиста, который как-то сказал ему:

— Ну, что ты потерял? То, что мы теряем каждый день. Капитал у тебя был чужой, взятый в долг, и если его не считать, то у тебя отобрали только плоды твоего труда. И это естественно при нынешней экономической системе. Ты пытался избежать этого, но тебе не удалось, вот и все...

Для Антти Тээри эти слова прозвучали слишком холодно, бездушно. Они не утешили его, ибо не учитывали того рвения, с каким он трудился весь свой длинный рабочий день. Они отрицали радость обладания.

Да он, Антти Тээри, собственно, никогда не понимал социалистически настроенных рабочих и их устремлений, направленных на преобразования, которые Антти казались «сверхъестественными». Он считал себя патриотом. Глядя, как ширятся его поля, он думал, что действует на благо своей родины. В шюцкор он тоже входил, посещал все занятия, даже когда время не позволяло. И вовсе не потому, что хотел сохранить милость тех, чьи подписи ему нужны были для бумаг. Он терпеливо сносил насмешки лесорубов «с красной душой», даже то, что они окрестили его «Антти Беляк», а его старую ревматическую лошадку, на которой не очень-то повозишь бревна, — «Атакой Антти Беляка». Они не уставали доказывать, что Антти Тээри нечего защищать, что никакой родины у него и в помине нет.

И вот сегодняшний день подтвердил их правоту... Но их злая, ранящая душу ирония осталась и, словно плотная стена, отгораживала Антти от них...

Однако разве лучше обращались с ним те, другие? Кто когда-то обещал ему помочь стать самостоятельным хозяином — разве не они именно ускорили его крах? Разве не намекали они, что он слишком вольно обращается с занятыми деньгами, чего, мол, не делал бы со своими, заработанными: много строит, слишком много ест, наплодил детей полную лежанку. Да еще бегает с этакой штуковиной, винтовкой на плече в самую рабочую страду...

И это говорили те, кто претендовал на звание «спасителей отечества» и защитников существующего строя!.. А если кто-либо из них и произносил слова утешения, то это звучало примерно так: дело, мол, не в самом мужике, он, мол, без изъяна; но время-то сейчас такое... Да и ценность земли упала. Как будто ценность

имения Тээриахо не возрастала по мере того, как ширились поля и поднималось их плодородие!.. Да, велико было искушение поверить социалистам, поверить тому, что причина его беды скрыта в устройстве общества. Ведь собственность и вправду скапливается у кучки, а «единый и целый народ» высасывают досуха... Но тут Антти снова ощутил в своей душе, точно ноющие раны, перенесенные насмешки. Нет, в нем все еще было желание упорствовать, противиться социалистам...

Антти Тээри очнулся и начал разжигать угасшую трубку. Тут он заметил свою винтовку, шюцковскую винтовку. Сейчас, на этой голой стене, она казалась чужой и бесполезной. Все остальное у него отняли. Только винтовка осталась.

Антти Тээри почувствовал вдруг, что было бы и прямо достойно насмешки лесорубов, если бы он и теперь взял эту винтовку на плечо да зашагал с нею по дороге. Ведь с ее помощью не добудешь и куска хлеба, если только речь не идет о грабеже. Этот штык будет колоть ему глаза так же, как шип ранит тело, там, в бане Пекки-Быка, в чужой бане. Винтовка будет потешаться над ним и спрашивать с усмешкой, как те лесорубы: что же ты, мол, теперь защищаешь и обороняешь, эй, Антти Беляк?..

Антти Тээри вздохнул, выколотил трубку и снял со стены винтовку. Выйдя из избы, он захлопнул дверь в сени и приставил к ней винтовку как подпорку. Потом торопливо, не оглядываясь, зашагал по скользкой, скованной морозом дороге.

Из-за леса поднялась луна, круглая, багровая. Ее блеклые лучи упали на дверь опустевшей избы, сверкнули на винтовочном дуле и на гранях штыка, острие которого врезалось глубоко в сосновую доску двери.

## **Война Лесного Лапели**

К тому моменту, когда началась война, он успел принять трудное решение.

Это не его война. Пусть воюют те, у кого есть, за что воевать.

Услышав, что уже раздают «пригласительные билеты» на эту «молниеносную и триумфальную войну», он скрылся в лесу. Сквозь зеленые ветки кустарника он поглядывал, как страна с помпой усаживалась в колесницу Гитлера, которая непременно застрянет в российских сугробах, как когда-то застрял Наполеон. В этом он был уверен.

Однако находились такие, которые верили совсем в иное. Они радовались, что наконец-то приобрели себе превосходного компаньона для драки. Ведь этот компаньон, словно играючи, покорил могучие державы. И теперь взялся за Россию, с которой финны сталкивались извечно. Ну как же тут выдержать какой-то там России, стране, в которой и порядка-то не было... Она не выдержит и одного удара! Какое счастье, что финны смогут участвовать в этом походе!.. Через несколько недель все будет закончено, и земледелец будет снова стоять на краю своего луга, натачивая косу...

Но Лесной Аапели не желал получить «пригласительный билет» на это «торжество». Он лежал в глухой лесной чаще и думал: до чего же глуп народ, веря всему, что внушают! Есть у него глаза, да не видят, есть уши, да не слышат и сердце ничего не подсказывает. Ведь во время Зимней войны финны лишь напрасну петушились против мощи Советского Союза. А народу, — вот потеха! — пытались доказать, что это они, финны, победили. И еще внушали, что в восемнадцатом году финны, мол, побили «рюсся» и вырвались из-под его ига. Вот так-то и создается вера в право сильного, а она в конечном итоге к добру не приводит.

Но Лесному Аапели было достаточно одного раза: он, как-никак, сам участвовал в Зимней войне и пришел к выводу, что русские — первоклассные воины и оружие у них тоже превосходное. Лесному Аапели прямо-таки претили внушаемые народу басни: что, мол, «рюсся» очертя голову бросается в пасть смерти, что его боевая техника суший хлам. Все самолеты были, конечно, «наши», а если вдали слышался гул артиллерийской канонады, то это, значит, тоже «наши» принялись подавать жару...

Пусть желающие отправляются в этот поход! Уж там их разум быстро прояснится, если только раньше

их не застигнет так называемая «геройская» смерть. Вот ее-то Лесной Аапели и намеревался избежать прежде всего. Что может быть отвратительнее, чем гнить в земле под каким-нибудь «памятником герою», когда знаешь, что эта война ни к чему, что германская военная колесница скоро разлетится в пух и прах...

Однако он знал: власти считают важным, чтобы финны, все как один, надели на себя солдатские шинели — хм, доспехи героев! — и чтобы все молчали, как агнцы, которых ведут на заклание; пусть «памятник герою» грезится им как великая цель... А в деревне уже говорили, что Лесной Аапели удрал и прячется от опасностей войны, разумеется, он трус и предатель. И впрямь: живет он, как лесной зверь. Может, за его поимку уже назначено вознаграждение — словно за убитого волка...

Но он выбрал свой жребий сам. Он знал, что редко кто посмеет ослушаться приказа. И эта мысль придавала Аапели стойкости в его лесной жизни.

Первые несколько дней он прятался на самой окраине деревни и иногда в ночное время пробирался в дом своего старшего брата, вместе с которым жил. Лесной Аапели был еще довольно молод, семьей не успел обзавестись, что теперь оказалось великой удачей. Возможно, жена и дети лишили бы его смелости так распорядиться своей судьбой...

Брат, которому едва-едва по возрасту удалось избежать «прелестей» войны, был по натуре своей робким и боязливым.

Придерживая подштанники, он то и дело подходил к окну, с подозрением оглядывая деревню, залитую знаменитым светом северных белых ночей.

— Неужели ты не мог поступить, как все, и пойти? — скулил он. — Если уж суждено богу душу отдать, ничего не поделаешь...

Аапели, который расправлялся с ужином в тихой избе, продолжал жевать.

— Речь идет вовсе не об этом, — заговорил он наконец. — Неужели ты не понимаешь, что в их колесницу я не намерен впрягаться. Моя война в том, чтобы не воевать. И в этой войне я готов отдать даже свою жизнь...

— Но не заходил бы ты сюда. Баба моя... У них же язык без костей. И дети могут проснуться, а потом

разболтают. Или посторонний невзначай увидит тебя, на улице-то светло...

— Да, долго так не пойдет...

— А ты думаешь, что все и вправду скоро кончится, как говорят?

— Нет, скоро это не кончится, будь уверен. Всем осточертеть успеет...

— А как же ты думаешь продержаться, ведь есть-то тебе надо?

— Да, пожалуй, такое потребует сил. Но это моя война...

— Ну а потом, когда война кончится?

— Может, тогда настанет пора другим думать о том, как им быть...

Брат вздохнул и промолчал. Слишком беспокойным стал мир, трудно в нем было жить. Аапели, быстро покончив с едой, взял под мышку узелок с продуктами и шмыгнул в лес, который, точно заботливая мать, всегда был готов надежно укрыть его.

Однако через несколько суток, когда кончилась еда, Аапели появился снова, к досаде старшего брата. Тот нервничал. Младший брат стал для него каким-то злым ночным гномом, с которым лучше не иметь никаких дел.

У него были и новости: война и на самом деле началась! Это-де Россия напала на Финляндию!

— Вот как они говорят об этом, — сказал Аапели. — Но, пожалуй, это все-таки финские господа начали. Решили, что теперь, когда Германия взялась за нашего соседа, его положение, мол, плачевно. Но, наверное, и тебе понятно, что при такой ситуации русским не к чему было удлинять свою линию фронта...

И он решил, что наступила пора начать и свою войну организованным порядком. Как личность, ведущая войну, он и вправду чувствовал себя неуютно среди «мирных» односельчан. Следует организовать снабжение, и брат должен стать участником его войны, интендантом. Иного выхода нет. Брат должен доставлять продукты в определенное место. Это нетрудно сделать, ведь брат частенько бывает в лесу. К тому же у Аапели есть кое-какие сбережения, а на долю брата — хлопоты и риск. Правда, услуга это немалая, и деньгами ее, конечно, не оценишь.

Брат что-то беспомощно мямлил и бормотал и наконец согласился.

С этого момента Лесной Аапели начал вести свою войну всерьез. Он перебрался подалее, в глубь дремучего леса, и подыскал себе уединенный и, по его мнению, безопасный уголок. С собою у него были лопата, топор и пила. Он выстроил хорошую землянку, ведь свободного времени у него было хоть отбавляй. И замаскировал свое жилище так тщательно, что по землянке можно было пройти и ничего не заметить.

Потом он начал ждать. Времени было предостаточно. Но одиночество ужасно, оно может довести человека до сумасшествия. Лесной Аапели частенько уже подумывал о том, не взвалил ли он на свои плечи непосильную ношу. Он бродил по глухим местам, словно лесной зверь, наострив уши, пугаясь каждого шороха. Он старался не оставлять за собой никаких следов. Порой он целыми днями лежал на солнцепеке, думал или спал.

Когда у него кончались продукты, он шел за ними к назначенному месту, там они появлялись регулярно. Это было его единственным соприкосновением с внешним миром. Однако вынужденное безделье и одиночество тяготили его. Лесной Аапели никогда не слыл нелюдимо.

Подчас все казалось ему беспорядочным и дурным сном. Иногда ему становилось настолько неумоготу, что он сутками подкарауливал в лесу брата, чтобы только увидеть и услышать человеческий голос.

Но встретить брата ему удалось лишь два раза за все долгое лето. Во время этих кратких встреч он с жадностью смотрел на человека, слушал и говорил сам. Он неохотно отпускал брата, страшась своего великого одиночества. Ему удалось уговорить брата доставлять ему вместе с продовольствием газеты и книги. Только в полумраке землянки осмеливался он раскрывать шелестящие газеты. Они скалились огромными заголовками, кричащими о победах Германии, и душу Аапели надолго захлестывало тяжелое сомнение, ему казалось, что борется он за обреченное дело...

Да и что это за борьба! Торчит себе в жалкой норе, как крот, как крыса...

А все-таки он не на их войне, не захватывает чужих земель. Он слышал от брата, что в той заварухе многие его односельчане уже добились себе вечного покоя.



И все-таки книги и газеты очень помогали ему сохранять мужество. Они вливали в него силы продолжать свою порой казавшуюся ему безнадежной войну, А тут еще он занялся поделками из дерева, это тоже помогало ему коротать время.

Так прошло лето, тяжелое также для Лесного Аапели. Он вовсе не мог похвалиться тем, что у него нет страха перед будущим.

Осенью ему удалось поймать в западню огромного лося. Это значительно облегчило проблему питания. Даже брат возвращался несколько раз домой с грузом лосиного мяса.

Прохладный ветерок, яркое небо, деревья, окрашенные в желтые и красные тона, листья, падающие на землю, — вся эта красота осеннего леса придавала Лесному Аапели бодрости и храбрости. Он много ходил по лесу, ставил силки на зайцев и птиц. Пожалуй, он был единственным охотником в этих глухих местах. Ведь мужчин их деревни угнали в другие леса, заставили думать об иной добыче, а у тех, что остались дома, не было времени бродить по лесам.

Наступила зима. Она буквально заточила Лесного Аапели в землянке. Он боялся выходить: могли остаться следы на снегу. Вот так же, наверно, чувствовали себя обитатели леса — лось, лисица, волк... Он завидовал куропатке, которая может внезапно прервать след своих пуховых лапок на снегу и взлететь...

Он сидел в своей землянке и при свете жалкой копилки пытался либо читать, либо заниматься поделками. Но и этот свет приходилось экономить, керосину было в обрез. А тьмы кругом сколько угодно, тьмы и невеселых мыслей. Одиночество давило. Огонь, потрескивавший в очаге, был его единственным другом, он бодрил Аапели: огонь жил, шумел, подавал голос, разговаривал с ним, а кроме того, хоть и скудно, но освещал подземное жилище отшельника.

Военная колесница Германии была остановлена на просторах России, зато Финляндия достигла вершины своего могущества: ее сыновья стояли на Свири...

И сильнее прежнего Лесной Аапели ощущал ничтожество своего крошечного существования. Неужели он рассудил неправильно, не пожелав быть среди тех

«победителей»? Какой смысл прятаться под землей в объятый морозами Суоми?

Огонь, его единственный друг, шумел, трещал, без устали доказывая, что жизнь продолжается, что все изменчиво... Однако и дрова приходилось экономить: Лесной Аапели боялся оставить следы на снегу. Но постепенно он расхрабрился, брат принес ему лыжи, и он стал довольно смело ходить по лесу. Однажды он даже решился встретиться с братом и уговорил его взять подряд на заготовку дров в этих глухих местах. Тогда и от него, Лесного Аапели, будет брату какая-то польза.

Итак, он смог продолжать свою войну: всю зиму во время снегопадов он с удовольствием пилил и рубил. Хорошо было трудиться, следить за тем, как из сугробов вырастают штабеля дров, и чувствовать себя человеком. После работы ему спалось спокойно, да и следов, казалось, никто не замечал...

Так прошла зима — темная суровая пора. Прошла и ослепительная яркость начала весны; все выше карабкалось солнце, вечера стали синими, и сугробы таяли, постепенно оседая. Потом однажды с серого неба заморосило, в лесу появились проталины, на которых сверкала красная брусника. Лес зазвенел от голосов токующих птиц.

В одну из таких переполненных птичьими голосами апрельских ночей Лесной Аапели лежал в своей землянке и смотрел на пламя: он снова любовался своим другом, живым огнем. Где-то капало, капало непрерывно. В этом подземном жилище особенно остро чувствовался запах таявшей воды.

Потом до его слуха дошел какой-то непонятный приглушенный звук, как будто наверху что-то хрустнуло. Он подошел к смотровой щели. В голове стучало: неужели, неужели его выследили?..

Действительно, было похоже на то. В сумерках весенней ночи перед самым лазом виднелась мужская фигура с перекинутым через плечо ружьем. Попался-таки...

Но это был его брат, Матти, со старым, заряжаемым через дуло ружьем — наверно, на ток собрался.

Аапели высунул голову.

— Влезай!

Брат вздрогнул, осторожно огляделся и спустился в землянку. Он с любопытством посмотрел вокруг себя.

— Здесь и живешь? Ничего, хотя и не так уж безопасно, как кажется. Ведь я нашел, хотя дорогу никто не показывал. Искра из трубы привела меня прямо на место.

— Да, найти можно, это верно.

Брат был необычайно говорлив. Оказалось, что он пришел неспроста. В деревне пронюхали, что скрывающийся от войны Лесной Аапели находится где-то поблизости. Брат был уверен, что и за ним уже следят.

— Вот оно что, — сказал Аапели.

— Да, пожалуй, заготовка дров была ошибкой. Мякеляйнен, обмеряя дрова, многозначительно ухмылялся: не духи ли, мол, на тебя работают, когда это ты успел столько заготовить?

— Эх, жердина проклятая, — сказал Аапели. — Вот таких бы и отправить туда, в леса Карелии, чтобы их там гранатами разорвало. Так нет же, они, знай, других посылают!

— А тебе, конечно, не угодно туда отправиться, — бросил в ответ брат. — Не знаю уж, что лучше, однако положение таково, что я не могу больше заботиться о тебе. Сразу и попадешься, раз уж они смекнули...

— Да, пожалуй, так, — сказал Аапели.

Братья замолчали. В очаге тлели угольки, где-то в темном углу землянки капало, капало беспрерывно.

— Неужели таких вот, как я, нет больше в наших краях? — спросил Аапели.

— Вроде бы и нет. Но я слышал, что там, за двумя селами, в лесах есть люди. Их еще лесогвардейцами называют.

На душе у Лесного Аапели посветлело. Связаться бы с ними. Сообща было бы легче вести эту войну...

— Вот туда я и пойду...

— Правильно, — сказал брат. — Здесь-то тебе нечего делать, да и опасно...

Он встал.

— Ну, мне пора. Лучше быть осторожным. Я даже охотничий рог с собою захватил — если бы на след напали, сказал бы, что слушал глухариное токование.

Он протянул руку.

— Ну, пока. Будь счастлив в своих походах...

Он внимательно посмотрел в щель, затем выкарабкался из землянки. Аапели увидел, как он снова огляды-

вается и прислушивается. Но слышно было только, как в лесу пел дрозд. Потом брат еще раз нагнулся к лазу.

— Если попадешься, дай о себе знать...

— Ладно, коли не прикончат сразу...

Послышался тихий шорох удаляющихся шагов. Возможно, слегка подморозило.

Угли в очаге погасли.

Звук падающей капли раздавался все реже.

Лесной Аапели быстро встал и начал укладывать вещи. Большую часть их придется оставить здесь. Было много готовых изделий из дерева, хотя брат, доставляя продукты, немало унес их с собою. В рюкзак он не положил ничего, кроме продуктов, и все-таки мешок был туго набит. Аапели выбрался из землянки, закрыл лаз и замаскировал свое убежище самым тщательным образом.

— На войне, — сказал он про себя, — иногда возвращаются на старые позиции...

И он начал свой поход по мокрому весеннему лесу, пестрому от снежных пятен, полному щебета птиц. На душе у него было и тоскливо и удивительно светло.

Приближалась перемена. В последней газете, которую он видел, он прочитал о предстоящем крупном весеннем наступлении, которое немцы будто бы предпримут и с помощью которого они будто бы все сметут...

А это был его весенний марш, который приведет его к единомышленникам, к товарищам, непременно приведет, где бы они ни были...

Так он шагал по весеннему лесу, вдыхая дивные запахи и слушая тысячеголосый птичий гомон.

— Братья! — мысленно сказал себе Лесной Аапели. — Вас им не удалось заполнить — и меня они не заполонят...

Так началось крупное весеннее наступление Лесного Аапели.

## **Длинные тени**

До хлопотливой вдовы Лийсы Пентто, разведившей кур, дошли плохие новости: Германия Гитлера повысила пошлину на куриные яйца.

И тут на морщинистое лицо Лийсы, где можно было

прочитать всю историю ее нелегкой трудовой жизни, казалось, упала тень Гитлера, человека с усиками, как зубная щетка. Многие на ее месте уже давно прекратили бы борьбу за свой кусок хлеба и жили бы за счет общественного, и Лийса не упускала случая намекнуть на это. Основной доход в годы вдовства ей давало разведение кур. В кудахтанье крылатых питомцев ей слышались добрые вести о верном куске хлеба. Но теперь эта тень от мировой политики упала на лицо Лийсы Пентто, омрачила его, прибавила морщин, угрожала всему ее существованию.

Некто Гитлер, а также бушевавшие волны национал-социализма и ура-патриотизма были где-то там, на германской земле, а тень от них падала на жизнь некоей старой женщины из захолустной деревушки совсем в другой стране, далеко на севере.

— Очень уж они повысили пошлину-то, — сказала Лийса, — очень уж... Что теперь сомной будет? Кур-то уже невыгодно держать. Кабы правительство да все другие господа, к которым это относится, организовали продажу яиц еще куда-нибудь...

Лийса старательно раздувала огонь, готовя кофе своему гостю. Она без устали хлопотала, только бы отвлечься от мыслей. Ведь дело-то нешуточное. А как все шло у нее ладно, она даже решила расширить курятник и вырастить еще сотню цыплят. Уже приобрела и строительный материал, и лампу не за одну сотню марок купила, чтобы куры лучше неслись. Они, правда, и так неслись неплохо, но какой теперь в этом прок, если цены упали так резко: кооператив платит какие-то жалкие восемь или девять марок за килограмм... И надо же было такому случиться именно сейчас, когда она все свои надежды возложила на кур...

— Вот понадеялись они на торговлю с одной этой Германией и вовремя не организовали вывоз в другие страны...

— Следует верить и надеяться, что господа из правительства что-то сделают, — попытался ее утешить гость. — Речь идет об интересах очень многих мелких предпринимателей. Ведь порой эти политические ходы и приводят к чему-нибудь хорошему. Как известно, в нашей стране птицеводство развилось благодаря преимиям за экспорт...

— Да, что-то должны предпринять господа, — сказала Лийса. — Корм дорог, так что держать кур совсем невыгодно, особенно если цены еще упадут. Придется тогда их зарезать...

— Следует верить, что все обернется к лучшему. Безнадежность — начало конца...

— Да, чего только мы на своем веку не перевидали, над чем только не бились, а всё-таки удавалось как-то выкрутиться...

Да, собственно, никаких ощутимых признаков краха пока еще не заметно. Дорогая лампа сияет посреди курятника. Петух хорохорится и, вышагивая при шпорах и в туристских штанишках — гольф, покрикивает на кур. Куры сидят на жердочках и втихомолку готовят свою продукцию в известковых скорлупках. Все куриное царство кажется погруженным в блаженство и покой, ибо его обитатели пребывают в благословенном неведении относительно мировой политики. Они не знают, что тень некоего Гитлера, человека с усиками, как зубная щетка, уже простерлась и над ними, что волны национал-социализма и ура-патриотизма, бушующие где-то там, на германской земле, угрожают превратить и их в антиобщественный элемент, что цветущим куриным головам в захоластной деревушке далеко на севере угрожает плаха.

## **Нрав Вехвиляйнена**

Во дворе возле уборной стоит Вехвиляйнен, босой, налегке — одетый лишь в рубашу да подштанники. Он стоит тут уже немало времени, непреклонно и решительно, хотя мороз лют и ветер пронизывает до самых костей. Вехвиляйнен выскочил из дома по нужде, и заодно, чтобы хоть на минутку избавиться от вечного брюзжания жены, которое ему до чертиков надоело. Вот, посудите сами: человек только что вернулся из очередного похода по деревням; чтобы добыть семье пропитание, он совершил тяжкий в зимних условиях путь, скупая телячьи шкуры и лыко. В конце пути он повстречал приятелей, ну, и выпил в компании, самую что ни на есть малость. Возвратившись домой, был

как бы с похмелья и слегка не в настроении, потому что и сделки его не особо удались...

Но как встретила его жена? Скандал учинила, принялась за свое вечное брюзжание, припомнила ему даже всякую давность, случаи времен Ветхого завета. О, эта женщина никогда ничего не забывает, если дело касается прегрешений ближнего!.. Он, как глава семьи, попытался было прикрикнуть, но это, конечно, не возымело никакого действия. Тогда Вехвиляйнен решил лечь спать, благо был вечер. И уже начал было раздеваться... Но голос жены не давал ему покоя. Этот голос упрямо продолжал свое, точно голос какой-то сороки-трещотки. И внезапно Вехвиляйнен так обозлился, что босой и полураздетый выскочил из избы, чтобы хоть на минутку обрести покой.

И там, возле уборной, его внезапно осенило: а зачем вообще возвращаться в избу, где от трескотни бабы голова идет кругом?.. Он может и здесь постоять. И даже в ледяной столб превратиться, назло той сороке. Тогда-то она почувствует, что значил в ее жизни Вилле Вехвиляйнен! Небось покается, что довела мужа до крайности. Но раскаяние запоздает, его уже не будет в живых...

Итак, Вехвиляйнен решил стоять босой и полураздетый в снегу, на морозе, под пронизывающим северным ветром. А он никогда не отступался от своего решения.

Прошло уже немало времени, целая вечность, как ему казалось. Холод сотрясает крупное тело Вилле, и он обнаруживает вдруг, что стоит на одной ноге, как журавль. Тогда он решительно ступает в сугроб обеими ногами. Пусть мороз щиплет пальцы и ступни и все тело до самой макушки! Это пустяк по сравнению с голосом сороки-трещотки...

И Вехвиляйнен продолжал упрямо торчать в снегу, хотя невыносимо страдал от холода. На небе играло красками северное сияние, мерцали звезды, в жердях изгороди и бревенчатых углах избы потрескивал и ухал мороз. Порою Вилле мерещилось, что это в его пальцах, в его костях трещит мороз. Время тянулось медленно, как сама вечность...

Но раз Вилле Вехвиляйнен решил наказать свою жену, он доведет дело до конца...

Однако время от времени он уже начал прислушиваться: а не скрипнула ли дверь, не вышла ли жена,

чтоб сказать ему что-то? И голос-то у нее вовсе не такой уж противный...

Но дверь избы оставалась черной и неподвижной. И для Вилле по-прежнему существовали только суровый финский зимний вечер, игра северного сияния и мерцание звезд, потрескивание мороза, да шум гонимого ветром снега...

Он продолжал упрямо торчать в снегу. Немилосердный холод пронизывал его насквозь, он впадал в забытие, терял чувство времени. Да, да, вот так всегда бывает с теми, кто хватил лишнего... Потом снова приходил в себя, точно просыпаясь, и в ужасе думал: он же умрет! И на самом деле превратится в ледяной столб... А жена-то его все же бессердечная, нет у нее никаких человеческих чувств. Похоже, ее вовсе не трогает, что с ним, Вилле, может случиться... Понапрасну он все это затеял...

И Вехвилайнен пошевелил замерзшими руками, вытащил из сугроба заочевенвшие ноги — ну, конечно, они уже в ледяшки превратились! — и неуклюже заковылял к избе. С трудом распахнув дверь, он ввалился в дом.

Жена была уже в постели, но керосиновая лампа горела, освещая избу. Вехвилайнена колотило, пальцы ног, ледяные и бесчувственные, точно деревянные, стучали о пол.

Жена приподняла голову... и Вехвилайнен снова услышал голос, от которого убегал. Этот голос произнес следующее: на свете, мол, много разных дураков, но таких, которые сами бы морозили себя...

Вехвилайнен в это время прислонился спиной к печке, пышущей жаром. Понемногу он отогрелся и снова обрел дар речи. Тогда он изрек:

— Но и от тебя бы немного ubyло, если б ты вышла да сказала: «Вилле, иди домой!»

## Друзья

На окраине деревни были избушка, клочок картофельного поля и плетеная изгородь.

На изгороди, залитой июньским солнцем, сидела ворона, а рядом с нею — мальчонка из избушки, с гряз-



ными, в ссадинах и кровоподтеках ногами, в рваных штанах, которые поддерживала всего одна, перекинутая накрест через плечо, вся в узлах лямка. Его давно нестриженные волосы напоминали птичье гнездо. Из одной ноздри то и дело выползала струйка; как только она достигала верхней губы, мальчик одним вдохом отплевывал ее обратно. И так без конца...

В руке мальчонка держал жестянку и маленькую деревянную ложку. Ложкой он вливал в вороний клюв простоквашу, и птица охотно разевала перед ним свой красный рот. Простокваша стекала на грудь птице, ворона вся вымазалась, перья ее слиплись в некрасивые комья. Далеко разносилось в летнем воздухе хриплое карканье вороны, а затем — торопливое квохтанье, когда она глотала простоквашу, прикрыв глаза и задрыв клюв.

Но вот птица насытилась. Жестянка брошена на траву, а ворона и ее молодой хозяин, веселые и беспечные, принялись играть на лужайке. Они были счастливы, ничто не угнетало их: ни заботы о завтрашнем дне, ни тягостные раздумья — для них не существовало еще ни серьезных дел, ни мечтаний. Так друзья проводили долгие летние дни всегда вместе, всегда в новых затеях.

Мальчик нашел ворону весной на берегу ручья, в дырявом гнезде на самой верхушке сосны. Это был совсем еще голый птенчик, с красной кожей, кое-где, точно шипы, торчали первые перышки, а клюв был широко разинут в ожидании пищи. Мальчик принес птенца домой, начал усердно кормить его простоквашей. Птица выросла и стала его лучшим другом.

Но дед не одобрял этой дружбы. «И что хорошего? Взял себе в товарищи мерзкую хищницу. Да, пожалуй, из парня не выйдет ничего путного...»

Старик брюзжал и бросал злые слова, в то время как мальчик сидел на траве, а ворона, взлетев на его лохматые волосы и склонив черную головку, поглядывала вокруг умными, поблескивавшими глазами. Мальчик смотрел на мир еще ясным и чистым взором, он пока довольствовался обществом небесной птахи. Но пройдет немного лет, и, кто знает, не станет ли он искать веселья в бутылке вина и не потянется ли к компании куда более грязной, чем вороненок. Вот тогда-

то он, наверное, так же охотно пристукнет птицу булыжником, как готов был это сделать старик сейчас...

Однажды, когда мальчик пошел к ручью, а ворона осталась резвиться во дворе, старик вынул изо рта табачную жвачку и запихал ее в разинутый клюв птицы. Ворона начала вертеть головой, вращать глазами, ей было очень плохо. Вскоре она опрокинулась на траву и задрала лапки к небу.

Мальчонка, вернувшись домой, нашел своего друга всклокоченным, с закрытыми глазами, вытянутыми лапами, неподвижным, мертвым.

Далеко слышны были в тот летний день всхлипывания. Мальчонка из избушки выплакал тогда самые горькие в своей жизни слезы.

## Рождество в лесном бараке

Они решили остаться на рождество в бараке, зная, что для бездомных и бессемейных праздник не станет веселее и на людях. Ведь нередко в компаниях все сводится к пьянке и скандалам. Да и разъезжать им было особенно не на что. Кроме того, они намеревались и праздники поработать в лесу. Их было трое: двое пожилых мужчин и молодой паренек. Десятник и хозяйка барака как умели позаботились о том, чтоб и они встретили рождество. Десятник привез им из села продуктов, табаку и несколько свечей, а перед уходом домой налил керосину и принес со склада кулек изюма, чтобы можно было приготовить мало-мальски приличный десерт. Хозяйка испекла большой круглый хлеб и сдобную булку, вымыла барак и накрыла столы чистыми бумажными скатертями с яркой, праздничной расцветкой. Итак, остальные обитатели барака разошлись по домам справлять рождество, а эти трое остались.

Наступил тот момент, когда запоздавшие покупатели мечутся по лавкам и книжным магазинам в поисках подарков и улицы наполняются особым, предпраздничным оживлением.

Несколько необычная деятельность начинается и в бараке. Один из пожилых мужчин, по имени Яакко, встает на лыжи и с топором на плече отправляется в лес. Он идет за рождественской елкой. Он смотрит вокруг, сбивает снег с молодых елочек, но не находит ничего по душе. На опушке он наконец срубает одну, но все же решает дойти до ручья: посмотреть, не найдется ли там чего-нибудь получше. Он петляет по зарослям вдоль ручья и, убедившись в конце концов, что там

елки тоже не ахти какие, присаживается на пенё и закуривает.

Темнеет. С неба падают тяжелые хлопья снега. Кругом тишина, нет даже легкого дуновения ветра, только громадные хлопья нескончаемо и тихо-тихо сыплются с неба, точно пух из перины. Погода мягкая, вокруг все дышит глубоким и нерушимым покоем, как и подобает в сочельник. Яакко вдруг замечает на березе четырех рябчиков, а на изогнувшейся над ручьем ольхе — еще двух. Они поклевывают сережки, перескакивают с ветки на ветку и тихонько посвистывают. Они кажутся большими; если бы не характерное пощелкивание, можно подумать, что это тетерева. Те, что сидели на ольхе, слетают на землю, а за ними и остальные, и зарываются в снег — спать. Скоро снег припорошит маленькие существа, думает старый лесоруб и невольно вслушивается: издает ли снег при падении какой-либо звук. Если очень внимательно прислушаться, то ухо может уловить едва различимый шорох. Снежные хлопья, навевая покой, тихо кружат над суровой глушью, опускаются на вершины сосен и на ветки елей, пристраиваются даже на самых тоненьких сучочках, ложатся на берег ручья, на крышу барака, на сложенные Яакко штабеля дров, на изгороди, на зимние дороги, покрывают толстым слоем лесные болота и застилают на берегу озера прорубь с желтой кромкой, прячут на дворе лыжи мальчугана, цепляются за телефонные провода и, прежде чем Яакко успевает направить свои лыжи к бараку, собираются на его плечах в крошечные сугробики. На фоне темного неба белеют припорошенные ели. Он размышляет о том, что вот здесь-то и царит мир, именно здесь, в этой словно закутанной в вату лесной чаще, — здесь царят мир и добрая воля.

Аапели топит баню, что выстроена под елями на берегу ручья. Добротная баня, с плотными стенами и большой каменкой. Стоит только раскалить эту грудку камней, и по закопченным бревенчатым стенам начинает сочиться смола. Последняя охапка дров уже догорела, и Аапели некоторое время держит дверь и отдушину открытыми, чтобы в их рождественской бане не осталось угара. Затем он разжигает огонь под котлом, в который наносил воды из ручья, усаживается на ступеньках бани и вслушивается в тишину сумеречного,

погруженного в дрему леса. Если бы стоял мороз, отовсюду доносились бы стук, треск, а из ближнего дома — лай собаки. Видна была б на небе та звезда Вифлеемская, что светила однажды на востоке... Аапели думает о том, что повсюду теперь стоит гомон и суетня, и легкая горечь, чувство обездоленности шевелится в его душе. Тут он вспоминает, что ведь и Иисус родился в хлеву. А не был ли тот хлев похож вон на этот, что стоит в конце двора? Но такие сосны, как здесь, на востоке едва ли были, хотя поди узнай...

Симо пробирается к бараку на лыжах сквозь снежную пелену. Он ездил в деревню за молоком, чтобы можно было сварить кашу и забелить кофе. Лыжи скользят плохо, то и дело приходится палкой сбивать с них налипшие комья снега. Если еще потеплеет, утром будет настоящая распутица. Вскоре Симо появляется из-за склада, ставит лыжи к стене и входит в барак.

Лесорубы тем временем готовятся идти в баню. Они достают чистое нижнее белье, разыскивают принадлежности для бритья и зеркало и, светя фонарем, направляются к бане. В предбаннике они раздеваются и затем входят в баню. Там шпарят веники, забираются с шайками воды на полоч, и Симо поддает пару. Сердито шипит каменка, изрыгает сухой жар на рождественских купальщиков, и с полка начинает доноситься пыхтение и кряхтение. Пот льет с них ручьем. Из бани слышны только шлепки веника, как они слышны в этот вечер и из многих других бань. Вдоволь напарившись, мужики охлаждаются на ступеньках. Затем бреются, натягивают на себя чистое белье и гуськом бредут к бараку. Они готовы к встрече рождества, скромного рождества тружеников.

На долю Яакко выпало приготовление ужина. Он развел огонь в кухонной плите и возится возле нее. Правда, не ахти какой роскошной будет их трапеза, но все-таки кое-что и на их долю найдется. Хозяйка барака приготовила им какую-то запеканку, которую они разогревают в духовке рядом с аппетитным куском свинины. Вдобавок Яакко варит ячменную кашу и компот из изюма. Симо расставляет на столе тарелки, из каморки со скрипучей дверью приносит колбасу и несколько бутылок молока.

В это время Аапели веревкой прилаживает к елке свечи. Елка вбита в дыру, просверленную прямо в половице. По правде говоря, он и Симо считают эту затею ребячеством, но Яакко настаивает, чтобы и у них была елка: что из того, если они встречают рождество в бараке?

Они приступают к ужину. Едят не так, как всегда, а торжественно, ведут себя более сдержанно и даже несколько церемонно; ведь и стол сегодня не совсем обычный. Да к тому же на ветках ели там, около печки-временки, горят свечи. Тени дрожат на бревнах стен и потолочных балках, и в воздухе пахнет чадом от горящего стеарина.

Пожинав, они ложатся на нары отдохнуть и закуривают. Взрослые набивают трубки табаком «Сигарный лист», а Симо курит сигареты «Рабочий». Аапели мечтательно говорит, что не мешало бы еще хоть раз покурить табачок марки «Слон». Вот это настоящий мужской табак, не какой-то жалкий самосад! Уж когда им затянешься, так даже сердце зайдет.

Через оконце для раздачи пищи Симо пролезает на кухню и включает радио. Батареи в приемнике новые, во всем бараке хорошо слышно. Программа ничего особенного, обычная для рождества, но в праздник этих трех бездомных людей она вносит какую-то торжественность. Даже старикам не удается сохранить безразлично-суровое выражение на лицах, когда радио сквозь заснеженные просторы доносит в этот глухой, заброшенный барак звонкоголосое пение детского хора. А когда маленькая девчушка нежным голоском старательно выпевает свою партию соло, лесорубы не знают, куда спрятать свои увлажнившиеся глаза. Нет, совсем не место такому голоску здесь, в этом суровом логове. Чувства, которые они годами безжалостно подавляли в себе, которые, казалось, задушил своей тяжестью суровый быт, вдруг начинают упрямо рваться наружу. Мужики инстинктивно разбредаются по своим нарам, чтобы поразмыслить наедине с самим собой, без опасения, что сосед все прочтает по выражению лица. Они глядят на огоньки свечей, следят за каплей тающего стеарина, которая стекает вниз и застывает на иглах елки белой градиной, слушают шум огня в печурке... Мысленно они совершают увлекательные путешествия в незнакомые

края, представляют себе толпу детей вокруг елки и, напрягая память, воссоздают картины рождественского праздника в различных домах: то в деревенской избе, то в городском жилище, то в доме десятника, где им приходилось бывать, и уже совершенно смутно мелькает воспоминание о блестящей мебели и натертых полах, о столовом серебре...

Музыка и пение составляют большую часть радиопрограммы. Хором ангелов кажется лесорубам выступление немецкого хора мальчиков. Затем звучит «Ave Maria» и повторяется много раз в этот вечер. Аапели вспоминает, что его мать звали Мари... Но много времени прошло с тех пор, когда на свете жил человек с этим именем. И в памяти у Аапели осталось только смутное воспоминание о чем-то очень ласковом, теплом..

Ночь всю бодрствуют супруги  
Возле спящего младенца...

и

На сене, в яслях коровьих...

В раздумье сидит юный Симо. Все эти песни и псалмы действуют ему на нервы. И еще ему неуютно оттого, что и старики почему-то приумолкли. Выключить радио, что ли? А из приемника доносится новая песня: «Мама, холодно тебе?..»

У Симо нет ясного представления, что такое мать. С тех пор как он себя помнит, он всегда жил у чужих людей. Он слышал, что его нашли в одеяльце, у крыльца одного дома... Зато теперь ему хорошо: у него такие славные товарищи — вот эти старики. Симо смотрит на Яакко, тот надел фланелевую рубашку, праздничные брюки и новые сапоги, чисто выскоблил подбородок. А под носом у него большущие усы. Он мастер на все руки, этот Яакко, так уверенно себя чувствуешь, когда он рядом. Он-то и затеял устроить праздник. Рассказывают, что когда-то он был хозяином целой усадьбы. Уж не об этом ли вспоминает он, вон как глаза блестят...

И молвил ангел им с небес:  
Зачем пугаетесь чудес?  
Вещаю благость я, народ,  
Большая радость к вам идет.

Аапели почти верит этим словам. Ему приятно сознавать, что и к ним, бездомным, «придет большая

радость»... Он смотрит в окно, и ему чудится, что там в конце двора, едва различимый стоит хлев, а в нем — женщина с младенцем на руках. От них исходит какое-то удивительное сияние — как на картинках... которые видел Аапели... «Опять извозчики оставили ясли в беспорядке, надо бы пойти почистить. Не известно ведь, что может случиться в ночь под рождество». Вдруг ему показалось, будто там, на задворках, мелькнул свет. Впрочем, может, это всего лишь отблеск пламени свечи в оконном стекле? Старик всматривается в метель. Снежинки густыми стаями слетаются на землю, трепещут, как ночные бабочки в августе, попав в луч света. В воображении старика возникает трогательная картина: на его делянке заяц грызет кору осины, которую он, Аапели, срубил специально для косога. Снежные хлопья падают зайчишке на белую шубку, на уши, на усы, на мордочку, а он только отряхивается да грызет, похрустывает, и холод ему нипочем.

В десятом часу лесорубы варят на печурке кофе. И не тогда ли плут Яакко торжественно вынимает из своего рюкзака бутылочку коньяку? Все радуются бурно, а Яакко поясняет, что рождество ведь не панихида. И то, чего доброго, они уже готовы слезу пустить — вон по радио какие трогательные псалмы распевают.

Мужики, конечно, понимают, что бутылка нужна им вовсе не для того, чтоб напиться, она только поможет преодолеть скованность и развяжет языки. Они степенно прикладываются к вину, и кажется им, что в огарках свечей пламя словно становится веселее. И вот они уже заглядывают друг другу в глаза и начинают балагурить. У каждого есть что порассказать: о своей жизни, о странствиях по белу свету, о том и о сем. Настроение у них веселое, душевное, ведь радио для них передает те же песни, что и для счастливчиков, празднующих рождество в большом мире. По правде говоря, эти три добытчика «зеленого золота» считают, что и у них получилось вполне приличное рождество; они не привыкли к роскоши, все иное, сверх этого, было бы для них лишним...

Падает густой, тяжелый рождественский снег. В самой глуши зимнего леса три скромных человеческих существа наслаждаются коротким мгновением счастья. Опускается мягкий пуховый занавес, отгораживая барак



лесорубов от коварного мира. Безмолвие... Покой... Тусклый свет чуть мерцает между заснеженными деревьями. Рождественская ночь...

Наступает время, когда люди укладываются спать. Но кто-то еще читает подаренную книгу; кто-то уже думает об утре и мысленно рисует себе путь в церковь на рождественское богослужение; кто-то восхищается новыми лыжами; кто-то примеряет красивую шерстяную кофточку. Какой-то малыш получил в подарок деревянную пушку, из которой можно даже стрелять. Ему совсем не хочется идти спать, но ведь заставляют! Лежа в постельке, он строит планы: утром начнется осада крепости. Он выстроит из кубиков крепость, это будет Эгерская крепость\*. Непрístupная крепость, с бойницами, с башнями и со всем-всем, что бывает в настоящей крепости. На стены он поставит оловянных солдатиков; вон тот доблестный воин — сам Иштван Добо, капитан. Вокруг крепости он расставит осаждающих — турецких янычар. Затем зарядит пушку дробью и будет стрелять в защитников крепости. Но Добо не упадет, потому что он привязан к кубику веревкой. Ведь в книге он тоже не умирает. А потом он начнет обстреливать крепость тяжелыми ядрами, которые будут попадать все время в один и тот же кубик, пока стена не рухнет и одна башня не упадет. Тогда янычары ринутся в атаку, но он перенесет пушку в крепость и будет теперь стрелять в янычар, лить им на головы кипящую смолу и бросать в них бомбы — совсем как в той книжке. И янычарам... не удастся захватить крепость...

А под полом барака усердно трудится крыса. Пятясь задом, она тащит по узкой щели почти половину пакета плавленого сыра, который утянула из каморки. Пакет в одном месте не пролезает, крыса разгрызает его, и по частям заботливая мамаша переносит сыр в свое гнездо. С радостным пискom встречают крысенята редкое лакомство.

Лесорубы, готовясь ко сну, слышат крысиный писк. Они приносят из передней матрацы, кладут их на нары,

---

\* Имеется в виду роман венгерского писателя Гардони Геза «Звезды Эгера», где повествуется о защите крепости Эгер в 1552 году от турецких янычар. Защиту крепости возглавлял капитан Иштван Добо.

гасят свет и ложатся. Лежа в полудреме на соломенных подстилках, они все еще находятся во власти этого особенного вечера. На завтра они приглашены в соседний дом пить кофе. Послезавтра тоже еще праздник, а потом начнутся будни. Если продержится такая теплая погода, тогда кора на комле елей не примерзнет. И в лесу не будет так холодно...

Вскоре они уже спят. В свете печурки темным силуэтом вырисовывается елка, единственным украшением которой являются четыре свечных огарка.

А в ночном лесу, словно ватные комочки, все падает и падает мягкий снег. Где-то очень далеко находится суточный мир, здесь же — покой и тишина. На бескрайние леса опустилась рождественская ночь...

## Гроза

Берег огромного озера тянется на многие километры, однообразный и монотонный, не радуя глаз сменой пейзажей. Только в одном месте от берега отходит песчаный мыс длиной с километр и шириной не более ста метров, который, словно вытянутая рука, делит озерную гладь надвое и ловко хватает бревна, оторвавшиеся от сплавных плотов.

Чтобы собрать этих беглецов, однажды вечером сюда прибыли трое плотовщиков. За их лодкой тянулся длинный ряд скрепленных металлической цепью бревен.

Теперь плотовщики отдыхают на прибрежном песке, посасывая трубки, а возле камня дымятся последние головешки догорающего костра. Они молчат и в раздумье смотрят на опускающееся за синие дали солнце.

В воздухе разлито что-то невыразимо гнетущее. Масляно гладкое, темное озеро как бы напряженно вслушивается в чьи-то далекие голоса, и вся природа словно замерла в тревожном ожидании или предчувствии чего-то. Перемена погоды уже близка. Плотовщики вспоминают, что утром во дворе собака ела траву, а над домом со скорбным криком пролетела гагара...

Стоит неестественная тишина. Утка летит вдоль берега, касаясь крылом воды, опускается на воду и плавно гребет лапками к берегу. Наконец она вылезает на сушу и скрывается в можжевельнике. Гора с зубчатым, точно пила, гребнем уже поглотила половину солнечного диска, и небо на западе полно удивительных красок. Особенно причудливо окрашены кудрявые барашки облаков: ближе к солнцу они золотисто-желтые, отливают медью, или ярко-красные и даже фиолетовые, а по мере удаления от солнца приобретают все более тонкие и нежные оттенки. На синем фоне плывут белые пятна облаков, и кажется, что это хрупкие серебристые ступеньки, по которым стремятся ввысь самые сокровенные человеческие мысли. Ниже линии заката ошетинился угольно-черный лес и грозит смешать игру красок на отшлифованной зеркальной глади озера.

А в южной части неба уже выстраивается для яростной атаки на облитую закатным маревом землю мрачное войско грозовых туч. Они переполнены зарядами разрушительной силы, эти огромные, тяжелые глыбы туч. Они лезут вперед, тесня друг друга, точно обезумевшие исполинские окуни с колючими плавниками и мощными упрямыми загривками, с горящими угрозой глазами. И поверхность озера тревожно блéстит, словно чешуя беспокойных мелких рыбешек. Скоро дрогнет зеркальная озерная гладь, помчится прочь от туч беленой пеной и белыми кипящими валами...

Только что, кажется, чуть трепетали листья осины, и вот уже дует сильный, порывистый ветер. Вскипает озеро, раскачиваются деревья, тьма окутывает землю... С неожиданной быстротой надвигаются свинцово-синие тучи, небо озаряется молнией, и раздается зловещий, почти непрерывный грохот, все время усиливаясь.

Плотовщики призадумались, как быть. Песчаный мыс с редким леском — плохая защита, а до берега далеко. Решают все же остаться, опрокидывают лодку, кладут под нее хвою и выкапывают с наветренной стороны канаву, чтобы под лодку не текла дождевая вода. Затем вползают под укрытие.

Вот упали первые капли, но и дождь будто ждет чего-то. Край свинцовой тучи уже над самой их головой, сверкает ослепительная молния. Наступает тишина... И вдруг снова раздается грохот, подобный взрыву, —

и кажется, что это надвое разорвалось какое-то невероятное прочное огромное полотнище. Грохот постепенно замирает вдали.

В один миг горы исчезают из виду, на озеро белой стеной надвигается ливень. Поверхность воды кипит, шипит и пузырится, листья на деревьях бессильно покинули... Льет как из ведра.

Слепящие извилистые молнии над озером, синие вспышки, розовые световые ракеты на мрачном небе... Шум, грохот, треск, гул, громыхание волн о прибрежные камни...

Один из укрывшихся под лодкой плотовщиков размышляет:

«Неужели все это — электричество? Только электричество и ничего больше? А почему те, кто при виде тяжелой тучи испытывают страх, называют грозу божьей карой?..»

Молния, треск, неопикуемый грохот... Мыслитель под лодкой пытается найти сравнение: похоже, будто тучи рушатся как гигантские штабеля бревен, штабеля высотой в сотни метров. Или кто-то опрокидывает горы, сложенные из громадных пустых бочек.

Снова рвется огромное полотнище, и звук разрыва летит во всех направлениях.

Из-под борта лодки человек бросает взгляд на озеро. И чудится ему, что вода с какой-то болезненной поспешностью стремится миновать мыс. Видимо, там, на наветренной стороне, размышляет он, уже обнажается дно озера: иначе откуда взяться все новым и новым могучим волнам?..

Шаровая молния, в небе шипение и треск, и вновь обрушившиеся штабеля бревен громыхают долго и монотонно...

Внезапно дождь прекращается, наступает зловещая тишина. Где-то вдалеке слышится глухой шум, и все нарастая, приближается свистящий металлический звук. Это мощные потоки воздуха торопливо совершают свой путь. Природа, словно застыв от ужаса, снова полна ожидания...

Слепящая вспышка, треск, оглушительный взрыв... и отзвук его словно перекачивается от одного края неба к другому. Дождь обрушивается на испуганную землю...

Молнии вычерчивают на аспидно-черной поверхности туч свои причудливые зигзаги. Тишина... И вот над головами плотовщиков будто проносится по стальному железнодорожному мосту ночной поезд. Он мчится сейчас на северо-восток, но как только мигнет красный свет, он, тяжело пыхтя, повернет к югу...

Еще мгновение — и самая страшная буря уже позади. Неистовство мрачной тучи постепенно слабеет, и сквозь тянущуюся за ней вуаль более светлых облаков сеет легкий, журчащий в летней ночи дождик. Воздух свежеет, дышится легче. Вот уже показалось освободившееся от туч небо, дождь перестает. Только в той стороне, куда уходят грозовые тучи, можно различить свисающие с них светлые полосы дождя.

Какой покой над озером! Благоухает листва березы, в хвое искрятся мириады водяных жемчужин. Северное солнце, пока еще невидимое, но уже совсем близкое и осязаемое, придает парящим в вышине пуховым облачкам таинственный отблеск, а облака в свою очередь отражают его зеркалу вод. Озеро чуть мерцает, переливается и отражает на своей поверхности неяркие, приглушенные краски летней ночи. Певчий дрозд заводит свою песню, чайка лениво плещет белыми крыльями над рифом, и с острова доносится сонное бледное ягненка.

Плотовщики, тихо беседуя, разводят костер и принимают варить кофе.

Уж не приснился ли им недавний грохот? Нет, это не было сном. Невдалеке видна сосна. Она хватается за воздух скрюченными пальцами, а по ее стволу спиралью сверху вниз ползет белый ломкий шрам с обгоревшими краями...

## За морошкой

Путь я проделал в одиночку, из города — поездом, а со станции — на велосипеде. Уже раньше я успел познакомиться с болотами, с зимними дорогами и луговыми тропками. Но вот уже два года я ни разу не собирал морошку. Мне приходится теперь ездить на автомашинах да в поездах, все время быть в большом мире. Когда-то я до усталости бродил по своей родной земле, теперь я жил там, где земля будто кухонным ножом на кусочки разрезана, и на каждом таком кусочке — человек. И тебя не оставляет ощущение, что ты находишься в переполненном автобусе, где даже дышать тяжело. Или как будто ты рыба, которую бросили в ушат.

...Дом смотрит на проселочную дорогу своим темно-красным фасадом. Возле него — сосны с оголенными корнями. Перед домом — еще три дерева, а в стороне, у канавы, — баня и молодые березки. В глубине двора видны сеновал и пустой хлев, конюшня и ветхий сарай с новой пристройкой, около амбара, окруженные красным заборчиком, растут кусты смородины. В самом конце двора начинается бесконечный, неровный ряд елей, который сливается с небом.

По другую сторону дороги местность полого опускается; поле и заливной луг переходят в болото. Но я не принадлежу к этому миру, я не могу сидеть на пороге этого дома и так же слиться со всем окружающим, как эта дверь, эти камни или эта земля. Я здесь пришелец, весь пропитанный запахом бензина. Чтобы не быть чужим, здесь надо долго прожить; чинить изгородь, рубить деревья, топить баню, косить траву — и делать все это, как самое обыденное. Тогда ты заметишь

свежескошенные луга и одинокие облачка, которые ветер пронесит над лугами. Во время сенокоса, когда работа уже близится к концу, может вдруг нагрянуть дождь, он намочит камни и кочки, сено и листья кустов. Тебе придется укрыться в избе, есть простоквашу или варить кофе...

Я беру длинное удилище, которое было прислонено к крыше, и медную блесну. По обочине канавы направляюсь к устью ручейка, туда, где он впадает в реку. Далеко забрасываю блесну. Когда она, коснувшись воды, сразу погружается, слышен лишь слабый всплеск. Я осторожно подтягиваю леску к листьям кувшинок. У самой поверхности воды, как тень, мелькает щука, удилище сгибается, само превращаясь в леску. Я медленно отступаю в мокрую траву, и щука, которая не перестает сопротивляться, оказывается на берегу... В реке много порогов и заводей, она богата рыбой. Но сейчас мне не хочется всерьез ловить рыбу, особенно гарьюсов, которые плещутся пониже валунов, там, где река течет плавно.

Я собрался на болото за морошкой. На ногах у меня чужие резиновые сапоги. Перейдя возле сарая канаву, я пересекаю луг и дорогу, пролезаю под колючей проволокой и выхожу на лесную тропу; заметно, что по тропе прошло стадо коров. По истлевшим жердочкам-мосткам я перебираюсь через трясины. Затем от знакомого мне песчаного карьера направляюсь к болоту. Я думаю о топях и глухом лесе...

Однажды осенью я расставлял на этой лесной тропе силки, сделанные из лески. Морозило, под деревьями было сумеречно, а над верхушками елей мелькало небо, ясное и бескрайнее. Я втыкал в землю палочки, булавкой поправлял петли у силков. Изредка я тянулся за брусникой, что росла вдоль тропы; когда пальцы мои касались желтого тонкого песка, мне чудилось, будто я весь погружаюсь в него...

Обратно я возвращался по лесам и лугам почти в полной темноте. Я открыл дверь в свой дом, там горела керосиновая лампа. Я всю ночь проспал возле двери...

Какая же она, эта лесная тропа? Она сухая, светлая, начинается с пригорка, там, где растут сосны. Рядом с тропой, под кряжистым деревом, высится мура-

вейник, сквозь него проросла тонкая рябина. В глухой лесной чаще тропа темнеет. Она петляет между кочками и наполовину скрыта водой. На кочках видны ягоды и листья морошки. А потом тропа исчезает в болоте, но там тебе она и не нужна: ты видишь болото от края и до края — все кочки, все небольшие лесистые островки и елочки с пушистой верхушкой.

Болото огромное; то бесконечные кочки, то ровные места. В солнечный день небо круглится над ним, точно половина гигантского шара, который рассечен на горизонте болотом. Сам ты находишься как бы в центре шара, и он движется при каждом твоём шаге, болото же всегда остается на месте... Воздух постепенно нагревается, с поверхности земли поднимаются легкие струйки пара. Здесь пахнет морошкой, сеном, вербой, мохом и водой.

Из болота тянется вверх тонкий стебелек, на его конце крупная желтая ягода — морошка. Она — дитя болота. Но если ты намерен собирать ягоды, ты должен знать места. Там морошки такое множество, что даже и представить себе трудно...

Я собирал морошку. Близился вечер. Вокруг стаями летали комары и мошки; они набивались мне в рот, в глаза, в уши. Набрав почти полведра ягод, я присел выпить кофе.

Потом я прошел к опушке леса на сухую поляну. Мошкара исчезла. Солнце село, и небо как бы опустилось, образовав над болотом прозрачную ровную крышу. Отсюда, с опушки, мне было видно небо во всей его ширине. Наступающий день обещал быть таким же ясным и солнечным, как сегодняшний... Потом я снова направился к болоту.

Налетела мошкара. Однако скоро настало утро, поднялся ветер и разогнал ее. Я прошел через болото и достиг пригорка в тот момент, когда солнце уже взошло. А деревня, раскинувшаяся вдоль проселочной дороги на берегу реки, еще спала. Вот я уже в лесу около знакомого мне песчаного карьера. Когда идешь от него к дому по жердочкам-мосткам, перед тобой постепенно появляются поля, деревни, дорога, ты видишь автомашины, поезда...

Зимой, в городе, я достал как-то из банки морошку — желтые ягоды, которые были очищены от стебель-



ков и листьев. Я начал их есть и вдруг заметил среди ягод мертвого лесного клеща. Он был зеленоватый, с круглой спинкой, плоским животиком и короткими лапками. Он лежал на блюде в электрическом свете. Нет, я не положил его к себе в рот, но очень хорошо знаю, какой он на вкус: там, на болоте, я нечаянно съел лесного клеща вместе с ягодой...

## Наследник

Весной ему исполнилось семнадцать лет. Он был высокого роста, но хрупкий и тонкий, словно девочка-подросток; что-то девичье было и в его розовом лице, хотя он брился уже два раза в неделю.

Как-то осенью под вечер он стоял во дворе. Они всей семьей убирали картофель, и он пришел за корзинами, так как две развалились прямо на поле, а здесь, в сарае, хранились новые, сделанные самим дедом.

Он взял две большие корзины, но в нерешительности остановился во дворе. Мать ушла с поля немного раньше его. Она вдруг обтерла испачканные землей руки и озабоченно сказала:

— Я совсем забыла, дед-то в бане... Уже часа два там. И никто не побеспокоится... Не случилось бы чего...

Бабушка и не думала идти смотреть, почему дед так долго возится в бане, — она лишь молча склонилась своей серебристо-седой головой к картофельным рядам.

Сперва мать прошла в избу — может, дед там — а потом мальчик увидел, как она мелким, но энергичным шагом пошла по тропинке к маленькой, с дерновой крышей баньке, что стояла на берегу под обрывом.

Мальчик не знал точно, в каком состоянии она, собственно, хотела застать деда. В доме уже давно царила вражда. Мальчику было известно, что вражда началась еще до того, как он родился, что она возникла, когда в дом пришел его отец, зять дедушки. Бабушка была на стороне старшего сына, а дедушка поддерживал зятя, и каждый грозился завещать хозяйство своему любимцу — другие пусть довольствуются остатками, тем, что придется дать под нажимом закона.

Мальчик улыбнулся иронически: он-то не намерен спорить, подобно этим! Они не знают, что он уже второй год подает заявление на металлический завод, на курсы учеников. Пока еще его не приняли... Но, может быть, уже скоро... Он смотрит на покрытую осенней грязью тропинку, по которой идет его мать. Вот она скрывается за низкой дверью бани. Мальчик поворачивается и уже собирается нести корзины на поле, вдруг слышит пронзительный вскрик матери. Она бежит по заросшей травой тропинке как-то неуклюже, пошатываясь, и руки ее подняты вверх тоже как-то странно. Торопясь ей навстречу, мальчик уже понял, что случилось: у деда опять приступ... «Когда-нибудь такой приступ доконает меня», — сказал дед несколько дней назад.

Мать плачет и мотает головой, волосы ее растрепались.

— Он умер, умер, — тихонько повторяет она.

Со двора видно, что отец, дядя Лаури — тот, второй претендент, старший сын деда — и бабушка прекращают работу. Они тоже вытирают испачканные землей руки и потом медленно, друг за дружкой направляются к дому.

Услышав о случившемся, бабушка закрывает лицо передником. Дядя Лаури сердито смотрит на отца, а тот, отвечая на его взгляд, суровым тоном произносит:

— Ну, теперь увидим...

Мальчик знает, что отец имеет в виду: увидим, действительно ли дед оставил завещание в пользу своей дочери; а это вполне может быть... Но мальчик смотрит на них с презрением. Он решил уйти из этого дома в любом случае — возьмут его в ученики сварщика или нет. А возможно, на столе кооперативной лавки, где обычно оставляют почту, для него уже лежит вызов на курсы... Эти люди, ненавидящие друг друга, испортили ему все — и поля, и красивые, поросшие травой деревенские закоулки, в которых он еще совсем недавно играл в свои детские игры. Ругань, злоба, ненависть разрослись в их доме, словно сорняки, что пышным цветом покрывают канавы и обочины дорог.

На его юном лице — суровое и строгое выражение: умер дед. Его хороший дедушка... Но мужчине не пристало показывать какие-то душевные волнения, это дело

женщин. Вон его мать и бабушка стоят, утирая слезы... «А сами-то, небось, все равно думают только о наследстве», — мелькает в голове мальчика злая мысль. Вот сейчас и сказать бы им, что ему-то, во всяком случае, ничего не надо, что он уйдет отсюда. У дяди Лаури нет ни жены, ни детей, а он — единственный сын у родителей. Значит, когда он уйдет, им придется продать все, их земля достанется чужим — сами-то они уже скоро состарятся. Так им и надо.

Когда мальчик приходит в деревню за почтой, там только и разговоров, что о смерти деда; люди строят догадки, кому же теперь достанется дом.

Он ставит велосипед возле стены кооператива и, войдя, молча слушает разговоры. Лавка, как всегда, полна особых, только ей свойственных запахов, — запахов рыбы, сухих круп, лошадиной сбруи и керосина. На стуле сидит старик и пьет прямо из горлышка бутылки лимонад. Некоторое время он пристально смотрит на мальчика, а затем произносит:

— Стало быть, в вашем доме побывала смерть.

А когда даже продавец обращается к мальчику из-за прилавка, он чувствует, что краснеет, он стал предметом всеобщего внимания, важным лицом.

— Неужто твой отец станет тягаться с Лаури? Неужто дело дойдет даже до суда? — спрашивает продавец.

Мальчик не отвечает, и продавец заговаривает со стариком, пьющим лимонад. Мальчик подходит к столу, на котором разложена почта. Газеты и письма лежат в беспорядке, видно, что в них уже покопались. Вдруг мальчик заливается яркой краской, хватается письмо, сует его в карман, нахлобучивает шапку — и вот он уже в дверях. Наконец-то пришло! Он разрывает конверт, он прямо-таки глотает слова, которые говорят ему, что он принят учеником сварщика.

«Ура, я стану сварщиком!.. Ах, верно, сегодня умер дедушка, неприлично быть веселым...» И все-таки ему весело.

— Эй, послушай-ка, — обращается он к деревенской дворняжке, которая бежит рядом с его велосипедом. — Знаешь ли ты, что такое сварщик? Не знаешь... Да здесь, наверное, никто и слова такого не слышал.

Мальчик решает, что никому не расскажет о своей тайне, — тем, другим, сейчас не до него. Но однажды, помогая матери, он не может удержаться:

— Мама, а ты знаешь, что такое сварщик?..

Мать качает головой и каким-то жалобным тоном говорит, что он не должен богохульствовать. Мальчик уже и раньше замечал, что все непонятное мать считает богохульством. Он весело смеется над страхами матери, над всеми спорами в доме, которые припоминает, смеется даже над похоронной серьезностью взрослых, но вздрагивает и обрывает смех.

Да, он объявит им свою новость после того, как враждующие стороны познакомятся с завещанием. Его душа ликует, он чувствует себя прямо-таки тайным наследником огромных богатств — ведь это ему досталось лучшее, а вовсе не им, он получил такое, о чем они даже не подозревают!

Все эти дни он смотрит на свой родной деревенский домик нежным, прощальным взором. Правда, жадность и зависть уже давно отравили здесь все, но он знает и другое, из-за чего любит свой дом, как любят родного человека. Вернее, не знает, не помнит в точности, но смутно чувствует, что это как раз то, из-за чего ему особенно дорог этот мирок... И все равно он уйдет отсюда, должен уйти, — ему ничего не надо из того, что отравлено жадностью... Мальчик начинает насвистывать.

— Сварщик, — произносит он весело вслух. — Я, я буду сварщиком! — повторяет он без конца.

Он стоит, задумавшись, на грязном дворе и неожиданно вздрагивает: мать, выйдя на крыльцо, зовет его странным, надтреснутым голосом.

— Что там еще... — бормочет он нехотя.

Мать машет рукой, чтоб он шел в дом.

Мальчик щурится, входя в освещенную избу. Там сидят хозяин соседнего дома, бабушка, дядя Лаури, отец... Мать стоит возле печки. Все поворачивают головы в его сторону, и он краснеет, но его узкие мальчишечьи плечи выпрямляются и на лице появляется непокорное выражение: уж не собираются ли они запретить ему... может, они узнали, что его приняли на курсы? Почему они так странно усталились на него...

Сосед произносит со значением:

— Я даже не подумал, что парень тоже должен присутствовать... Так уж получилось, что теперь он во всем деле главное лицо.

— Ну, что ж, — говорит дядя Лаури, — у меня детей нет. — Он искоса, но с почтением поглядывает в сторону мальчика. — Так-то вот, ты получаешь все, старик-то все тебе отказал.

Мальчик смотрит на всех ясным, открытым взором, он готов крикнуть: «Мне ничего не надо!» Он мнет в руках шапку. «Я не хочу стать таким, как вы... вечно ругаетесь, отравляете все доброе и хорошее, все превращаете в горе. Я уйду отсюда, я хочу стать сварщиком!...»

Но он молчит. Словно само поле, которое он унаследовал, заткнуло ему рот своей землей. Он замечает вдруг, что на него теперь смотрят иначе, чем прежде, бабушка даже приглашает его сесть, точно он почетный гость. Мать ставит на стол кофейные чашки.

— Пожалуй, это самое правильное решение, — произносит бабушка.

— Да, это он сделал умно, — поддакивает и отец. — Теперь все в порядке...

Никому из них, видно, и в голову не приходит, что он может сказать: «Я не хочу...» Да и сам он не знает, хватит ли у него духу сказать такое. Сейчас он чувствует одно: на его мальчишечьи плечи возложили тяжелую ношу — а ведь от нее, кажется, не положено отказываться?

И все-таки он произносит тихо, задумчиво, будто про себя:

— А я мог стать сварщиком...

Никто не обращает внимания на его слова, теперь они мирно беседуют, и только бабушка несколько раз повторяет слово «сварщик», приняв его, видно, за название какого-то предмета. Никто не догадается посмотреть на юное, нежное лицо, которое подернулось грустью разочарования, заглянуть в молодые, мечтательные глаза, владельцу которых кажется, что у него прямо из рук вырвали его богатство, — в момент, когда он стал наследником всего того, чего они так жаждали.

## Посылка

Катри — одна из самых незаметных фигурок в человеческой массе, заполняющей до семи часов утра трамваи и автобусы. Собственно, она не принадлежит даже к этим людям, которые раньше всех отправляются на работу, — обычно она на ногах гораздо раньше. Она разносит газеты еще до того, как люди выйдут из дому. В эти зимние утра она выскакивает из подъездов домов уже в три часа, и мороз щиплет ее маленькие руки, словно синичек, прыгающих в парке. Проворно, ловкими, заученными движениями она сует газеты в щели почтовых ящиков.

Покончив с газетами, она идет в барак цементного завода, барак, похожий на склад, который стоит за серым забором, — такой же серый, как и сам забор. Ранним утром, когда солнце еще не зажгло свой праздничный факел в конце улицы и не оставило красных следов своих поцелуев на окнах барака, она разводит там огонь в печке и кипятит воду для кофе. Пока барак нагревается и закипает кофе, который потом покупают у нее рабочие, она выбегает во двор и под еще по-ночному звездным небом выколачивает половики, вечно полные песка и цементной пыли.

В это утро она запоздала: покончив с газетами, она забежала домой за сумкой, которая была уже полным-полна покупок, и за пустым ящиком. Теперь она словно затерялась в этом рабочем потоке, шумном, темном и тяжелом, который с гулом, как мощный водопад, устремляется на заводы, склады, в мастерские. В этом потоке она кажется такой незаметной, такой крошечной, что ее с трудом отличишь от общей массы. Микконен, один из рабочих цементного завода, который всегда первым приходит на работу, вдруг с удивлением замечает ее.

Проходя мимо Катри по улице, невольно подумаешь: вот так существо! Старушонка ростом в неполных полтора метра, а лицо такое плоское, что нос почти не выделяется на нем. Не очень-то тянет смотреть на нее, но если все-таки посмотришь — удивишься, как мало на нее потрачено материала. Если же она обратит на тебя свой взгляд, поневоле вздрогнешь: такие у нее большие, синие, необычайно красивые глаза, а взгляд их живой,

умный и приятный. И тут ты почувствуешь укор совести: ловишь себя на том, что думал о ней почти так же, как о кустике в парке, или о птичке, или о собаке, которая бежит перед тобой, а ведь у нее человеческая душа! И, по-видимому, красивая душа — в таком невзрачном теле.

Да, у Катри именно такая душа, и тебе кажется, что ты проник ей в душу, заглянув в ее глаза. Но душа эта полна странных и даже смешных черточек.

Микконен, который сталкивается с ней в людском потоке, замечает ящик, полную сумку и думает: «Вот черт, опять она отправляет посылку! Какой толк посылать посылки этой учительнице? Ей-богу, никакого».

Они идут рядом; снег твердый, неровный и синий; солнце, похожее на расплавленный кусочек железа, еще совсем низко. В маленьком скверике, мимо которого на заводскую территорию вливается темный людской поток, кусты согнулись под тяжестью снега, и только кое-где видны подставленные под ветками подпорки. Окна заводских и складских зданий черно поблескивают, иней сошел с них, и заря ставит на них красные печати, как бы они ни хмурились.

Микконен искоса поглядывает на Катри: конечно, она опять готовит посылку для дочери, раз у нее в руках ящик и сумка с покупками. В свое время Катри удалось сделать дочь учительницей. Микконен это одобряет: что и говорить, надо стараться для своих потомков. Он и сам старался, а теперь у него свой домик за городом. Он уже давно обжил его, но приходится выезжать на завод ни свет ни заря. Вечно он самый первый на заводском дворе — расписание не совпадает!

Стоя посреди двора — он уже наколот дров для Катри и снес их к печке, — он крошит хлеб птицам, которые прыгают по бетонным кольцам, и с упреком говорит Катри:

— Опять отправляешь посылку? Сумасшедшая, ей-ей.

Он не хочет обидеть Катри, он просто бурчит себе под нос, и Катри не отвечает ему. Микконен в приятельских отношениях с этой маленькой старушонкой, хотя частенько и поругивает ее. Много раз хлопотали они по утрам на этом сумрачном дворе, скованном морозцем, в те минуты, когда начинает вырисовываться ветка березы, свисающая с другого двора. Сейчас она



покрыта коркой льда; но весной они радостно следили, как набухают ее почки. У Микконена вошло в привычку обстоятельно докладывать товарищам по работе, как набухают и зеленеют почки. Это он с разрешения мастера разбил у ворот две цветочные клумбы и сажал там фиалки, лепестки которых вечно были пыльные и растрепанные. А все-таки они вносили искру жизни в этот мрачный двор, заваленный бетонными кольцами, и Микконен частенько вспоминает о них зимним утром, когда приходит на завод. Сейчас кто-то свалил бетонное кольцо прямо на клумбы. Микконен, нахмурившись, посмотрел на кольцо и раздраженно сказал Катри:

— Зачем отправляешь учительнице посылку? Тебе самой надо получше питаться, да и приодеться не мешает. Моя старушка мать не старше тебя, но я ее уже не пускаю работать на чужих.

Микконен качает головой и хмурится, глядя на старуху.

Катри пропускает мимо ушей его слова и вдруг бойко замечает:

— Мастеру не нравится, что ты кормишь голубей. Зачем ты это делаешь?

— Голубь — он тоже птица, — бормочет Микконен, — а кормлю, потому что мне так нравится. И пусть Костыль не в свое дело не лезет. — В сердцах он называет мастера Костылем — такое прозвище тот получил из-за своей хромоты.

Катри поднимает свое плоское лицо с почти не существующим носом и говорит Микконену, назло:

— А мне вот нравится отправлять посылки, я и отправляю.

Уже не раз говорили они на эту тему, и всегда так же лаконично.

Но ведь и то правда, что ни тепла, ни еды, ни одежды, ни крыши над головой тебе никто не даст — надо заработать все это своими руками. А человек приходит в мир со всякими фантазиями в голове. И вот Катри сообразила: любви ей никто не даст, даже собственное дитя, но можно поправить и это — она сама будет дарить свою любовь другим.

Эту мысль Катри сделала законом всей своей жизни. О себе она никогда не думала. Спала по нескольку часов, чуть свет уже разносила газеты, днем убирала

в бараках, сгребала снег, подметала улицы, мыла общественные уборные — делала самую низкооплачиваемую, самую грязную работу, на которую не идут те, что по-сильней и посмекалистей. А вечером она находила время и на вязанье. О своем здоровье она совсем не заботилась. «Ты только рабочая лошадь и больше ничего», — твердила она себе не раз. Ее крошечное тело выносило, руки и ноги все еще проворны, но с годами одно плечо как-то странно перекошилось, словно надломилось.

Когда формовщик Микконен смотрит, как Катри собирает посылку, он не может не сердиться. Катри показывает ему шаль для дочери, красивых, с закрывающимися глазами, кукол в шелковых юбочках для дочкиных детей, пакетики со сладостями, ботинки, чулки.

— Дура ты! — сердито говорит Микконен. — Пускай сами покупают себе барахло. Тратишь свои кровные деньги на этакую роскошь. Глупая ты женщина.

Сам он человек добродушный и всегда готов прийти другому на помощь, но сейчас он в раздражении отводит глаза.

Катри трогает вещи своими маленькими руками, похожими на птичьи лапки, и в эти минуты кажется, что вся ее фигурка, согнутая непосильной работой, сияет, как и ее прекрасные глаза. «Погляди, как много могу я дать!» — так и хочется ей воскликнуть. Эта посылка — результат многих усилий, результат изворотливости, бесчеловечного обращения с собой, отказа себе во всем. Может, там и не поймут, с каким трудом она заработала деньги на эти подарки, но сама она гордо разглядывает вещи, каждая из которых, по ее мнению, — большая роскошь. Именно поэтому она и горда: тяжелую, грязную, неприятную работу она превратила в такие вещи! За мытье уборной там, на краю сквера, она получила деньги, на которые купила кукол и подбитые мехом ботиночки. Как же ей не гордиться в эту минуту, когда ее любовь на миг получает удовлетворение от радости дарить!

Катри никому никогда не попадаетеся на дороге: в обеденный перерыв она исчезает — забирается в какой-нибудь угол и тотчас же засыпает. Так и сегодня: когда кто-то открыл дверцу шкафа, оттуда появилась полусонная Катри. И как только человек ухитряется спать в таком положении?

— Сладок сон, когда спишь понемножку, — только и говорит Катри.

— Спит, словно собака в конуре, — раздраженно произносит рабочий, открывший шкаф.

Конечно, разные бывают люди, но человек прежде всего должен хоть немного уважать себя, — вот такая мысль кроется за его раздражением. То же думают и остальные. Но Катри считает себя только рабочей лошадью. «Мне самой мало нужно, а добиваюсь я многого», — думает она с ребяческой гордостью.

Будь она скрягой, ее, может быть, и поняли бы ее знакомые, но ведь она выбивается из сил только для того, чтобы иметь возможность дарить, и еще гордится этим! Все с удивлением и упреком посматривают на это крошечное существо, которое не гнушается никакой, даже самой грязной работой.

— Если у нее не все дома, тогда понятно, — говорит наконец один из них.

Когда-то давно, когда дочь ее стала учительницей, многие говорили ей: «Вот и будет тебе опора в старости».

Катри ничего не отвечала, потому что однажды в тяжелый момент поняла, что нельзя так думать. Она просто дала своей дочери лучшую долю, чем досталась ей самой. Про себя она иногда думала: «Я пустила ее в полет, словно птицу с руки, и она тут же почувствовала воздух под крыльями. Сама же я осталась ползать по земле, потому что мне никто не протянул руки, но зато я смогла протянуть руку своей дочери».

Незаметное существо эта Катри, она всего только щепочка, качающаяся на волнах жизни, но если ты встретишь ее на улице, поклонись ей низко. В этой невзрачной старушонке много такого, на что не способны ни ты, ни я. Любовь ее поистине княжеская!

## Янки в бане у Ала-Хэллэ

— Господи боже мой! — воскликнула хозяйка Ала-Хэллэ и всплеснула руками. — И такой большой господин... такой большой господин приедет к нам?!

— Да, да, в большом доме большому господину и бывать, — посмеиваясь, отозвался хозяин. Он только что говорил по телефону и узнал, что директор американской нефтяной компании Мак Галлери намерен прибыть в их имение Ала-Хэллэ, в баню. Об этом сообщил сын хозяина, молодой господин Яакко, который выслуживал себе лавры в министерстве иностранных дел. Отцу, сказал он, следует присмотреть за тем, чтобы в субботу баня была жарко натоплена. Да и вообще желательно, чтоб у американского друга не сложилось плохое мнение о финской деревне и о финском хозяйстве, то бишь ферме, как имел обыкновение говорить Мак Галлери.

С этого начался великий переполох в имении Ала-Хэллэ. Работникам и служанкам приказано было трудиться так, будто речь шла о подготовке к крупному сражению. Перемыть весь дом, вычистить хлева, подковать лошадей и сгрести снег. Починить окно в бане, да и вообще привести ее в подобающий вид: предбанник обшить досками, на пол постелить новые половики... Хозяйка принялась готовить брагу, а служанки Кайса и Лийса, закатав рукава и подоткнув подола, варили и жарили всякую снедь.

Поглаживая белый передник, под которым круглился сытый живот, хозяйка с довольным видом изрекала:

— Так-так... Ну что ж, покажем гостю, что и мы здесь...

Гость прибыл субботним вечером в роскошном автомобиле — народ называет такие машины «долларовой улыбкой». К этому моменту все жители деревни Хэллэ-мяки уже прилипли к окнам. Все сетовали на то, что надо же было творцу ниспослать именно в этот день трескучий мороз — вчера-то была мягкая погода. Даже самые храбрые мальчишки-сорванцы не осмеливались вылезти из дому, чтоб поглазеть на все с обочины дороги — как-никак, оттуда большого господина можно куда лучше разглядеть, чем через окно. За неимением более достоверных сведений жители деревни утоляли свое любопытство о госте Ала-Хэллэ в разговорах, строя всевозможные догадки. Одни утверждали, что этот господин не такой уж большой-пребольшой начальник, — нет, всего какой-то там коммивояжер. Другие уверенным тоном возражали, что такая большая страна, как Америка, не отправит в дальний путь какого-нибудь «маленького господина», так что речь может идти по меньшей мере о коммерции советнике. А некоторые даже предположили, что гость Ала-Хэллэ — сам министр иностранных дел Соединенных Штатов: ведь тот, говорят, носится по белу свету, совсем как Реландер\*, которого по этой причине прозвали Ласси Бродяжкой.

Откровенно говоря, Мак Галлери отнюдь не был маленьким человеком, ни физически, ни духовно: бог и хорошая еда, как сам он обычно говаривал, благословили его такими объемистыми телесами, что почти половину из них можно было бы без всякого ущерба пустить в распродажу. Служанки Ала-Хэллэ глазели на этакую мужскую красоту сперва ошарашенные, потом, несколько придя в себя, посмеиваясь: они не могли взять в толк, как такая глыбища умудрялась влезать в автомобиль — дверца-то была всего с банное окошко! И тут им припомнилась библейская притча о верблюде, которому предстояло пролезть сквозь игольное ушко... Лицо Мак Галлери также скорее напоминало бесформенную студенистую массу, нежели лик человеческий. Служанки, выдавшие в доме гостей и покрасивее нынешнего, так и прыснули, обнаружив, что этакая физиономия принадлежала не кому иному, а живому человеческому существу. Больше того, лицо это выразило благожела-

---

\* Л. Реландер — президент Финляндии в 1925—1931 гг.

тельность и даже чисто хозяйское самодовольство, когда гость, разомкнув уста, заговорил:

— Хьювэ пйивя, хьювэ пйивя! Добрый день!

И Мак Галлери приветственно закивал и хозяевам и слугам. Выяснилось, что по-фински он изъясняется довольно сносно, а некоторые слова произносит более литературно, чем простые жители Хэллэмяки.

— Какая прекрасная ферма у вас есть, господин Ала-Хэллэ! Но как есть холодно, devil\*, это есть совсем иначе, чем на экваторе...

Когда-то он был в Южной Америке (чего жители деревни знать не могли), и вот сейчас трескучий мороз Финляндии вынудил его вспомнить о жаре на экваторе. Подчас жара там была для Мак Галлери невыносима, но тем не менее в этот момент он предпочел бы находиться поближе к экватору, хотя бы в Аргентине. В той стране провел он много лет: официально начальником отделения одной нефтяной компании, а на самом деле, как и здесь, в Финляндии, выполняя поручения, о которых не говорится во всеуслышание. Вот незадача! И надо же ему было родиться в великой стране, которая заставляла его теперь таскаться на юг и на север — во все концы света. И загнала наконец даже в это захолустное именье Ала-Хэллэ в губернии Хяме... Так размышлял Мак Галлери, поспешая под эгидой своего друга служащего министерства иностранных дел Яакко и его отца в спасительное тепло просторной избы.

Позднее, когда они перешли в горницу и по приглашению хозяйки принялись за поданный служанкой кофе, Мак Галлери начал рассказывать об американском образе жизни. Он поведал о том, что в Нью-Йорке всегда и всюду жуют резинку, поднимают ноги на стол соседа и курят гаванские сигары. Вашингтон рядом с Нью-Йорком — маленький городок, почти как деревня Хэллэмяки по сравнению с Хельсинки. А вот Чикаго — это нечто другое. Там даже небоскребы такой же высоты, как в Нью-Йорке, по сорок-пятьдесят этажей. Еще в Чикаго находятся огромные скотобойни, куда привозят свиней со всей Америки. Их там быют током по голове: «Сажать свиношка на электрический стул,

---

\* Devil — дьявол, черт (англ.).

хе-хе!.. А потом — в ящики и банки, и весь мир получать свиная тушонка». «Йэс, Америка есть великая страна, и там жить удивительный народ. Сто лет назад умные люди говорить, что американец есть властелин мира... Сильный, крепкий народ. Вывозить культура во все страны, защищать Запад от Россия, йэс. Не правда ли? Финляндия тоже получать американская помощь...»

Но обитатели Ала-Хэллэ не умели толковать о политике. Как хозяин с хозяйкою, так и слуги хранили молчание, размышляли каждый о своем и дивились про себя: каким же важным должен быть господин Мак Галлери, если он вот так запросто берется судить о делах, которые в деревне Хэллэмяки не очень-то понимали, да, откровенно говоря, и не желали понимать. Лишь молодой господин Ала-Хэллэ время от времени кивал гостю и произносил: «Да-да... Таким образом... Оно, конечно, получали...»

А мысли хозяина были сосредоточены на бане. Наконец он подал команду в дверную щелку:

— Пойди-ка, Юсси, посмотри, скоро ли баня истопится?

— Отчего ж не пойти...

И работник Юсси пошел пошуровать дрова в каменке. Рассказней американца он успел наслушаться досыта. Хотя сидел он в людской, но голос Мак Галлери доносился до его ушей и через стену, а кроме того, Кайса, которая обслуживала за столом господ, не проронила из рассказов гостя ни слова и повторила Юсси все, чего он не дослышал.

— Да, да, видать, это мерзавец из крупных, — бормотал про себя Юсси, помешивая уголья. К похвальбе американца он отнесся отнюдь не доброжелательно. Уж не приехал ли тот в Финляндию с тем же, с чем американцы прибыли в Азию? И что им, американцам, надо в других странах?

Больше всего Юсси злило, что хозяин еще задолго до приезда гостя приказал ему парить американца. Сказал, что тот — янки, который никогда не бывал в бане, и поэтому ему нужно показать, что такое финская баня. Но гость — такой большой господин, что ему не положено самого себя веником хлестать, для него надобен особый банщик. По мнению хозяина, Юсси был под-

ходящей кандидатурой. И попробуй Юсси послушаться хозяина! В имени Ала-Хеллэ приказ хозяина значил больше, нежели все десять заповедей катехизиса.

— Поддай ему пару как следует, — добавил хозяин.

— Отчего же не поддать...

Юсси был по природе неразговорчив, да и мысль его двигалась неторопливо, однако голова его была набита отнюдь не опилками: «Отчего ж этому господину не показать, что такое «финский образ жизни»?..»

Наконец баня была готова, и все пошло так, как заранее наметил хозяин. В горнице американца угостили знаменитой в губернии Хяме брагой, и теперь он пребывал в отменнейшем настроении, как и сам хозяин. Вполне естественно, что господам потребовался банщик. Посему Юсси присоединился к обществу и начал осуществлять свой тактический план.

— Россия есть очень слабая, — пыхтел Мак Галлери, стаскивая с себя рубаху. — От них не быть большая помеха.

— А-а, от русских-то? — спросил Юсси, сунув венник в горячую воду. — Однажды я парился с русским... Крепкий был парень!

— С русским?!

Мак Галлери глядел озадаченно. Но работник подтвердил:

— Да, с русским. Он поддал пару куда больше, чем я...

— Не болтай зря, — вмешался в разговор хозяин.

Но работник продолжал свое:

— Да... Крепкий был парень... Я уже в сугроб удрал, а он только спрашивает с полка: чего ж ты, мол, на шутки обижаешься?..

— Видно, не решился пойти в снег! — И хозяин захохотал, довольный своей догадкой. Мак Галлери некоторое время вникал в его слова и затем самодовольно добавил:

— Боялся, что от этого быть кашель.

— Нет, ничего он не боялся, — упрямо возразил Юсси. — Под конец он поскакал в сугроб и крутился там подольше меня...

Слушателям пришлось согласиться, что, видимо, и такие русские попадаются, в порядке исключения. А Юсси все не унимался и продолжал твердить свое:



— Вот это был парень, так парень, тот русский... Другие-то со мной и не выдерживали...

— А вот посмотришь, сегодня выдержат! — огрызнулся хозяин Ала-Халлэ.

— Йэс, мы-то выдержать там, где какой-то батрак!.. Американец начинал злиться. И тогда Юсси как бы поставил точку:

— Ну что ж, посмотрим... — ухмыляясь, произнес он с расстановкой и, как только господа забрались на полки, начал поддавать пару.

Все принялись париться. Мак Галлери, правда, был в финской бане не впервые, он успел уже завести себе нескольких дружков — под стать себе. Но того не знал он, что на полке всегда легче банщику, чем тому, кого парят. Банному ритуалу он покорился безропотно, полагая, что, как представитель наилучшего в мире народа, он обязан быть крепче духом всех этих финских хозяев и работников. Мак Галлери стиснул зубы и предоставил работнику трудиться — поддавать пару и хлестать его по спине веником. Вскоре Юсси с досадою заметил, что американский господин был изрядно толстокожим: он и кряхтел и клял все на свете, но однако ж подставлял под шлепки веника то ноги, то руки. Хозяин исчез с полки еще в самом начале экзекуции, и это придало гостю уверенности в победе. Он решил париться до тех пор, пока и работник не сбежит из этого ада пекла. Если кожа сгорит, пусть, — ведь теперь речь шла о престиже государства! Работник должен быть посрамлен! Мак Галлери кряхтел и охал, подставлял спину, чертыхался на родном языке и в душе дивился: каким это чудом работник выдерживает такую жарницу? А работник и в ус не дует, знай себе хлещет гостя веником по спине...

И все-таки Юсси не осуществил свой план до конца. Скоро он понял, что истопил баню плохо: пар спадает слишком быстро. Юсси обозлился, и когда очередной раз подкидывал на каменку кипяток, то украдкой сунул в ковш свой веник. И тут уж, получив шлепок веника, Мак Галлери взвыл. То был такой вопль, что Юсси перепугался, одним прыжком соскочил с полки и понесся в сугроб. Тогда Мак Галлери завопил вторично, но уже от облегчения: наконец-то муки финской бани оказались позади! С видом победителя помчался он вслед за ра-

ботником и катался в снегу еще долго после того, как Юсси ушел греться в баню.

Ночью из комнаты Мак Галлери слышались жалобные стоны. Казалось, большой господин находится при последнем издыхании. Хозяйка и хозяин поспешили на помощь, вскоре в комнате гостя появились и служанки и работники. Позвали врача, измерили температуру. Врач покачал головой: температура приблизилась к сорока.

— В такой туше — и такой жар! Что же будет? — шепнула хозяйка на ухо служанке. — А все из-за того банного состязания.

— И от нашей финской браги!

— Такое и до смерти довести может...

А Юсси с Кайсой лишь тихонько перемитивались. Третья плутовка, Лийса, ущипнула Кайсу за руку и ткнула Юсси в бок.

Хозяин удрученно сопел:

— Вот к чему приводят шутки...

— Ничего, небось не умрет!

И действительно не умер. К утру температура спала, больной приходил в себя, он мог уже говорить связно. Вызвав к себе врача и хозяина, он толковал с ними о причине болезни. А когда узнал, что непривычному не следовало лезть в такое пекло и в особенности — кататься потом в снегу, больной, понизив голос, озабоченно спросил:

— Йэс, но знает ли хозяин того работника?

— Уж конечно!

Хозяин даже обомлел. Как же ему не знать своего работника, жителя той же деревни? Хороший работяга, но изрядный шутник. Отчаянный любитель попариться.

— Я просить, его надо арестовать.

— Что, арестовать?!

Американец снова прохрипел:

— Я просить, его надо арестовать.

Тогда хозяин понял. Он шепнул врачу:

— Опять бредит!

Врач сострадательно кивнул. Но Мак Галлери повторил настойчиво:

— Я просить, его надо арестовать... Это есть опасный работник... В Америке арестовать все такие работники... Это коммунист!

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В эту книгу вошло тридцать восемь рассказов, бытовых и лирических, печальных и озорных, густо населенных лесорубами и крестьянами, рыбаками, забавной детворой и снова лесорубами и сплавщиками. Написаны эти рассказы двадцатью писателями, из которых самая старшая — Хелла Вуолийоки родилась в 1886 году и начала печататься еще до революции 1918 года, а первая книга самого молодого — Антти Хюрю вышла в свет в 1958 году. Некоторые из писателей уже знакомы нам — это Пентти Хаанпяя, Армас Эйкия, Марtti Ларни, автор популярных у нас сатирических романов «4-й позвонок» и «Прекрасная свинарка», Хелла Вуолийоки, чьи пьесы «Каменное гнездо», «Юстина» прочно вошли в репертуар советского театра, Эльви Синерво и другие. Однако большинство рассказов этого сборника принадлежит тем одаренным финским писателям, имена которых впервые прозвучат на русском языке.

Разумеется, трудно в небольшом заключительном очерке раскрыть творческую историю двадцати писателей, каждый из которых по-своему талантлив и литературная судьба которых так несхожа. Все же следует сказать несколько слов о том, что, по нашему мнению, характерно для большинства представленных здесь авторов.

Финская литература имеет первоклассных мастеров короткого рассказа, и классиков — таких, как Минна Кант и Юхани Ахо, и более близких нашему времени — таких, как автор крестьянских рассказов Эмиль Силанпяя, лауреат Нобелевской премии, и новеллистка Мария Йотуни (1880—1943 г.). Этих имен читатель в сборнике не встретил, ибо почти все вошедшие в книгу рассказы, за исключением одного или двух, написаны уже после второй мировой войны. Период этот сравнительно небольшой, но он был ознаменован крутым поворотом в истории Финляндии. Правящие круги ее поняли, что подлинную независимость страна может обрести только тогда, когда перестанет быть пешкой в игре иностранных империалистов и обретет дружбу своего миролюбивого могучего соседа.

«...Человек возвращался с войны, издалека, из чужих краев и от чужих пейзажей... На вершине одного из холмов он остановился и закурил. Взгляд его скользнул вдаль: какие бескрайние леса! Эх, разве здесь мало места для жизни? А ведь там, на войне, ему пытались внушить, что война будто бы ведется из-за нехватки этих самых «жизненных пространств». Хватит, всем хватит места, здесь его предостаточно. Человек курил и размышлял...»

Так начинается свой рассказ «Возвращение человека» Хейкки Лоуная... Герои многих рассказов сборника, а вместе с ними и сами авторы как бы возвращаются домой с прошлой войны, по-новому видят родные места, леса, озера, заново продумывают свою жизнь и, конечно, то, что пришлось пережить им в годы этой ненавистой войны.

И хотя каждый из писателей возвращался к мирной жизни по-своему, и приходили они домой из разных мест (Пентти Хаанпя из армии, с фронта, Хелла Вуолийоки, Кайсу-Мирьями Рюдберг, Эльви Синерво из тюрьмы, куда они были брошены за свою антивоенную деятельность) и хотя память каждого из них несла свой запас впечатлений и переживаний, но дальнейший путь их во многом оказался общим.

«Человек курил и размышлял», — пишет Хейкки Лоуная о вернувшемся с фронта. Разумеется, он размышлял о бессмысленности войны, о мирной жизни; он вспоминал тех, кто, не щадя своей жизни, активно боролся с поджигателями войны, и тех, чье сопротивление войне выражалось лишь в том, чтобы уклониться от службы в армии, — что, впрочем, тоже требовало немалого мужества.

«Лесные гвардейцы», «лесогвардейцы» — так называл народ людей, уходивших в леса, чтобы не принимать участие в «чужой» войне. Долгие месяцы, а то и годы жили они в лесных избушках или потаенных землянках, в большинстве случаев безоружные, и лишь редко собирались небольшими группами. Число их все время увеличивалось. Но многие лесогвардейцы и те, кто к ним примкнул, не знали, что же делать дальше. Для этого надо было ясно себе представлять характер войны... И вот героическая Компартия Финляндии послала многих замечательных самоотверженных людей нала-

дить связь с «лесной гвардией» и активизировать ее деятельность. Яркий образ одного из таких революционеров-коммунистов, расстрелянного за антивоенную деятельность, встает перед читателем в лирическом рассказе Эльви Синерво «Ненаписанная поэма».

На окраине Хельсинки, на кладбище в Мальми, находятся братские могилы красногвардейцев, павших в 1918 году. Туда после войны рабочие столицы перенесли прах тех, кто, спасая честь своего народа, боролся против участия Суоми в войне на стороне гитлеровцев и был за это расстрелян. На одной из могил я прочитал имена таких героев финского народа, как Вейко Пейюсти и Мартта Коскинен.

Это о Мартте Коскинен, о последних часах жизни этой скромной швеи, которая помогала лесогвардейцам, распространяла антивоенные листовки, была за это приговорена к смерти и шла на расстрел с песней, рассказ Хеллы Вуолийоки «Реквием».

О буднях лесогвардейской жизни, о том, как бессознательный, стихийный у некоторых из них протест постепенно превращается в сознательное противодействие антинародной политике правительства, читатель прочел в рассказе «Война Лесного Аапели» талантливого, трагически погибшего писателя Пентти Хаанпяя.

Победа антигитлеровской коалиции во второй мировой войне многое изменила в жизни Финляндии. Шире стали осуществляться принципы буржуазной демократии, записанные в финской конституции. Вышли из подполья демократические организации трудящихся. Во внешней политике возобладала линия, которая стремится во все большей мере использовать преимущества мирного, дружеского сосуществования с Советским Союзом. Ее называют «линией Паасикиви — Кекконена», противопоставляя «линии Маннергейма», символизирующей милитаристские, реваншистские тенденции некоторых малочисленных, но влиятельных еще кругов.

Однако по-прежнему ключевые позиции экономики остаются в руках «двадцати семейств» Финляндии. И в повседневной жизни, и в бытовых отношениях трудящихся многое, по существу, свершается все еще «по старинке». Те же мечты и иллюзии, что и десятки лет назад, разбиваются, столкнувшись с действительностью.

Не один большой том можно составить из рассказов о несбывшихся, разбитых жизнью мечтах. Среди них мечта о собственном доме, о собственном клочке земли занимает едва ли не господствующее место.

«Мечта о доме» — так называется рассказ известного в Финляндии писателя академика Тойво Пекканена, рассказ о труженике, решившем построить себе дом.

«Хотя так называемое счастье и является чем-то немного глупым, состоит обычно из простоты и наивности, из эгоизма и неведения, но все же при виде счастливой четы невольная грусть охватывает тех, кто обездолен судьбой», — думает автор, наблюдая, как его друг приступает к строительству... Но и это счастье, «состоящее из простоты и наивности», оказывается неосуществимым. После многих лет самоотверженного труда и лишений во имя воплощения своей мечты герой рассказа оказался неплатежеспособным. Не в силах пережить крушение всех своих надежд, он кончает жизнь самоубийством.

Новеллистка Анники Маруна в рассказе «Спелые плоды» подробно показывает, как крупные капиталисты привлекают в ловушку людей, вкладывающих свой труд и все свои сбережения в строительство, — чтобы, подкараулив тот момент, когда «плод созрел», снять его с дерева и присвоить.

К этому же циклу рассказов о несбывшейся мечте можно отнести и рассказ Пентти Хаанпяя «Замок на двери Тээрнахо», о «самостоятельном земледельце» Антти Тээри, разоренном кризисом и выкинутом со «своей земли» заимодавцами. «Плоды всех его стараний были отобраны, достались другим. А он, хозяин, уходил, таща за собой вечный хвост неоплаченных долгов...»

«Антти, — рассказывает Пентти Хаанпяя, — трудно было смотреть на все происшедшее глазами своего знакомого рабочего-социалиста, который как-то сказал ему:

— Ну, что ты потерял? То, что мы теряем каждый день. Капитал у тебя был чужой, взятый в долг, и если его не считать, то у тебя отобрали только плоды твоего труда. И это естественно при нынешней экономической системе. Ты пытался этого избежать, но тебе не удалось, вот и все...

Для Антти Тэари эти слова прозвучали слишком холодно, бездушно. Они не утешили его, ибо не учитывали того рвения, с каким он трудился весь свой длинный рабочий день. Они отрицали радость обладания».

Но не только разоренный кризисом крестьянин еще не воспринимает объяснений рабочего-социалиста, их не воспринимает и академик Тойво Пекканен. В рассказе «Далекий остров» он словно утверждает: так уж суждено, таков неизбывный закон жизни, мечтают ли дети о чем-нибудь или взрослые, — мечта их никогда не может осуществиться. Жизнь всегда во всем принесет разочарование.

Мечта осуществима лишь в сказках, да и то ценой собственной жизни. Этому посвящена легенда «Папоротник» Марии Лийсы Вартио. Старик, искавший вечное слово, добывает его после тяжких страданий, но гибнет. В действительной жизни несбыточной оказывается даже такая далеко не фантастическая мечта — стать сварщиком на заводе.

Крушению этой мечты семнадцатилетнего крестьянского юноши посвящен талантливо написанный рассказ «Наследники» известной финской романистки Хельви Хямäläйнен — гостье последнего Съезда советских писателей. Здесь писательница как бы обнажает корни собственнической психологии, искажающей судьбы человеческие.

У неостывшего еще тела деда вскрывается завещание. Не сыну, не взрослой дочери достается наследство, изба и кусок земли, а внуку — мечтавшему поступить на завод.

«Мальчик смотрит на всех ясным, открытым взором, он готов крикнуть: «Мне ничего не надо!.. Я не хочу стать таким, как вы... вечно ругаетесь, отравляете все доброе и хорошее, все превращаете в горе. Я уйду отсюда, я хочу стать сварщиком!..»

Но он молчит. Словно само поле, которое он унаследовал, заткнуло ему рот своей землей».

«Поле, затыкающее рот своей землей», присутствует во многих произведениях современных финских писателей. Литература Финляндии до сих пор остается и по темам и по героям своим и по жизнеощущению преимущественно крестьянской. У финского крестьянина две

души — душа собственника и душа труженика. Прославлению животворящего труда, труда земледельца и лесоруба посвящены прекрасные страницы финской литературы. Славят труд многие рассказы Хельви Хямäläйнен, Олави Сийппайнена, Вейкко Хуовинена, Инто Каллио и др.

Сособым проникновением написаны рассказы о трудящейся женщине. Для образа вечной труженицы-крестьянки, ее повседневного жизненного подвига финские писатели находят особенно сочные краски. Мне думается, тот, кто прочитал рассказы «Путь к просвещению» Олави Сийппайнена, «Руки бабушки» Инто Каллио или популярный в Финляндии рассказ Пентти Хаанпяя «Тетушка Пуссинен, женщина, достойная уважения», надолго запомнит эти чудесные образы простых финских женщин.

Особо следует сказать о финском юморе.

Даже те деревенские рассказы, в которых повествуется о тяжелой жизни безземельного арендатора, полны своеобразного, порой трогательного, порой несколько грубоватого юмора, столь характерного для финского крестьянина. Улыбка здесь, пожалуй, сильнее, чем любая патетическая речь, обличает «идиотизм деревенской жизни»... Рассказы сборника продолжают традицию бытовой сатиры финской литературы, хорошо известной нашему читателю по повестям Майю Лассила («За спичками», «Сверхумный» и др.).

С доброй улыбкой, с душевным сочувствием к своим «героям» написаны рассказы о «мелких невзгодах семейной жизни» хуторян: «Тучи» Олави Сийппайнена, «Поездка в церковь» Хейкки Лоуная, «Лиходейка Майя» Эре Колу, «Нрав Вехвилайнена» Пентти Хаанпяя. За таким, казалось бы, заземленным описанием безысходного, ограниченного существования хороших людей так и слышится гоголевское «Скучно на этом свете, господа»...

Добродушная усмешка финского юмора в рассказах, посвященных простым труженикам, становится уничтожающе острой в горьком смехе бичующей сатиры, направленной против тех, кого русский народ называет «захребетниками».

Таланты авторов-сатириков разносторонни, и мишени, по которым они бьют, многообразны. Даже зло-



ключения безработного юноши в рассказе «Немножко нахальства» Мартти Ларни сумел преподнести с неожиданной, словно у О. Генри, «морализующей» концовкой. И совсем в другой манере написан рассказ «Пасьянс» Эйлы Пеннанен — представительницы молодого поколения финской литературы. Характер вздорной и несчастной старухи, история ее напрасно загубленной жизни раскрываются в самопроизвольном «потоке сознания».

Жало сатиры ряда рассказов сборника обращено на заискивающее низкопоклонство некоторой части финской буржуазии перед богатыми американцами, на «америкоманию». Злого сарказма полны рассказы Армаса Эйкия («Янки в бане у Ала-Хэллэ») и недавно умершей писательницы-коммунистки Кайсу-Мирьями Рюдберг («Конкурс на «мисс Луну», «Бараньи головы», «Ионнэ (Джон) Лампела в роли политического деятеля»).

Герой последнего рассказа Ионнэ (Джон) Лампела — один из организаторов и идеологов шюцкора, военизированной организации фашистского типа. Как только по условиям мирного договора между СССР и Финляндией шюцкор был запрещен, Лампела было «растерялся», но очень скоро «перестроился». А после того как он выступил в хлеву перед своей женой и новорожденным бычком с такой же речью, какой «блеснул» Уинстон Черчилль в городе Фултоне, «политическая звезда Ионнэ (Джона) стала быстро подниматься на небосклоне. Нет, не в глазах хозяйки Лампела и тем более не бычка, а местных «братьев по оружию», которые, правда, вступили в рабочее объединение. Как и Ионнэ, они называли себя теперь социал-демократами...

Писательница показывает, как закономерно финские нацисты сменили своих немецких хозяев на американских и как также закономерно на выборах в парламент большинство избирателей, голосующих за «линию Паасикиви — Кекконена», провалило кандидатуру Ионнэ (Джона) Лампела — сторонника «линии Маннергейма»...

Несмотря на то, что роль рабочего класса становится ведущей в историческом развитии Суоми, давно превратившейся из аграрной страны в страну инду-

стриально-аграрную, в финской литературе, как уже было сказано, образ трудового человека предстает в первую очередь в облике крестьянина. Лесоруб — наполовину пролетарий, наполовину крестьянин — герой большинства рассказов сборника, и лишь в очень немногих появляется рабочий. Только в рассказе Пентти Хаанпяя это сознательный рабочий-социалист, объясняющий разоренному кризисом арендатору «хитрую механику» капитализма. Чаще всего он предстает перед читателем как объект безжалостной эксплуатации — пусть порой и ропщущий, но еще пассивный, не творец истории, а ее жертва.

В рассказе Пентти Лаhti «Ханнес Райта становится старым» — это человек, всю жизнь проработавший на лесопилке. Уволенный по старости без пособия и пенсии, он только потому под конец жизни и прозревает и начинает понимать, что был прав-то не он, а его сын, призывавший к борьбе с предпринимателями. В другом рассказе того же автора — это девушка-работница, которой машина отрубает палец. Ведь для предпринимателя поставить предохранительное устройство к машине слишком дорого.

Картины капиталистической эксплуатации как в этих, так и во многих других рассказах предстают перед читателем во всей своей неприглядной наготе. Однако вместе с тем невольно испытываешь чувство неудовлетворенности от того, что политическая деятельность рабочего класса сегодня, его борьба за улучшение своего положения, воздействие пролетарских организаций на развитие культуры — все это нередко проходит мимо внимания талантливых финских новеллистов. Эту неполноту отчасти можно объяснить и силой литературной традиции, и тем, что названная тема фактически была столько лет под запретом, и тем, что в стране господствуют издательства, связанные с крупной буржуазией. Они в изобилии выбрасывают на книжный рынок переводную и подражательную — детективную, мистическую и эротическую — литературу.

Отсутствие героя-рабочего в финской литературе объясняется отчасти и тем, что революция 1918 года десятилетиями была окутана ложью и клеветой. Сейчас в Финляндии начался, правда, еще в ограниченных масштабах, пересмотр установившихся «канониче-

ских», то есть навязанных реакционной историографией, взглядов на рабочее движение. Этим занят, к примеру, такой оригинальный художник, как Вяйне Линна, посвятивший свой новый роман предыстории и истории революции восемнадцатого года в Финляндии. Одаренный молодой писатель Пааво Ринтала также смело восстанавливает в своих книгах историческую правду о событиях 1918 года, развенчивая «культ Маннергейма».

Хотелось бы закончить статью словами, которыми, впрочем, можно было и открыть весь сборник: читатель получит не только эстетическое удовлетворение, но узнает много нового для себя о жизни маленького человека Финляндии, проникнется уважением к его незаметному, но большому труду и полюбит суровую природу страны «тысячи озер».

*Геннадий Фиш*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>Марья-Лийса Вартно</b>	
Папоротник. <i>Перевод А. Мантере</i> . . . . .	5
<b>Хелла Вуоллийоки</b>	
Реквием. <i>Перевод А. Мантере</i> . . . . .	17
<b>Иито Каллио</b>	
Бабушкины руки. <i>Перевод А. Володина</i> . . . . .	20
Свободное воскресенье. <i>Перевод А. Мантере</i> . . . . .	22
<b>Вильё Каява</b>	
Продавец птиц. <i>Перевод А. Володина</i> . . . . .	25
<b>Эре Колу</b>	
Майя Лиходейка. <i>Перевод Г. Корень и В. Гладкова</i> . . .	30
<b>Мартти Ларни</b>	
Немного нахалства. <i>Перевод В. Богачева</i> . . . . .	34
<b>Пентти Лахти</b>	
Ханнес Райта становится старым. <i>Перевод В. Федорова</i> .	41
Не слишком ли это дорого? <i>Перевод В. Федорова</i> . . . .	47
<b>Хейкки Лоуная</b>	
Возвращение человека. <i>Перевод А. Мантере</i> . . . . .	52
Поездка в церковь. <i>Перевод А. Мантере</i> . . . . .	58
<b>Анникки Маруна</b>	
Спелые плоды. <i>Перевод А. Володина</i> . . . . .	63
Конс ега. <i>Перевод А. Володина</i> . . . . .	70
<b>Ойва Палохеймо</b>	
Сплющенные леши. <i>Перевод Г. Корень и В. Гладкова</i> . .	76
<b>Тойво Пекканен</b>	
Мечта о доме. <i>Перевод Г. Корень и В. Гладкова</i> . . . . .	83
Далекый остров. <i>Перевод Г. Корень и В. Гладкова</i> . . . .	91

## **Эйла Пеннанен**

Пасьянс. Перевод Г. Корень и В. Гладкова . . . . . 97

## **Кайсу-Мирьями Рюдберг**

Ионне (Джон) Лампела в роли политического деятеля.  
Перевод А. Мантере . . . . . 105  
Конкурс на „мисс Лулу“. Перевод А. Мантере . . . . . 109  
Бараньи головы. Перевод А. Володина . . . . . 113

## **Олави Сийппайнен**

Дорога к просвещению. Перевод А. Мантере . . . . . 118  
Тучи. Перевод Г. Корень и В. Гладкова . . . . . 122

## **Эльви Синерво**

Вид с горы. Перевод В. Федорова . . . . . 127  
Ненаписанная поэма. Перевод В. Федорова . . . . . 140  
Встреча. Перевод А. Мантере . . . . . 146  
Десятка за урок. Перевод Г. Корень и В. Гладкова . . . . 152

## **Пентти Хаанпяя**

Тетушка Пуссинен, женщина, достойная уважения. Перевод  
Г. Корень и В. Гладкова . . . . . 165  
Замок на двери Тээрнахо. Перевод А. Мантере . . . . . 168  
Война Лесного Аапели. Перевод В. Гладкова . . . . . 172  
Длинные тени. Перевод В. Гладкова . . . . . 180  
Нрав Вехвилайнена. Перевод А. Мантере . . . . . 182  
Друзья. Перевод А. Мантере . . . . . 184

## **Вейкко Хуовинен**

Рождество в лесном бараке. Перевод Г. Корень и В. Глад  
кова . . . . . 187  
Гроза. Перевод Г. Корень и В. Гладкова . . . . . 194

## **Антти Хюрю**

За морошкой. Перевод А. Мантере . . . . . 198

## **Хельви Хампайнен**

Наследник. Перевод А. Мантере . . . . . 202  
Посылка. Перевод А. Володина . . . . . 207

## **Армас Эйкки**

Янки в бане у Ала-Хеллэ. Перевод А. Мантере . . . . . 212  
Возвращение человека. Геннадий Фиш . . . . . 219

## МЕЧТА О ДОМЕ

Редактор *И. Бобковская*  
Художник *А. Ф. Таран*  
Художественный редактор *В. Я. Быкова*  
Технический редактор *Ф. Х. Джатиева*  
Корректор *Т. Г. Вульф*  
Сдано в производство 28/VI 1962 г.  
Подписано к печати 18/X 1962 г.  
Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> = 3,6 бум. л.  
11,9 печ. л.  
Уч.-изд. л. 11,3. Изд. № 12/5495  
Цена 57 коп. Зак. 500

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва, 1-й Рижский пер., 2

---

Типография № 2 им. Евг. Соколовой  
УЦБ и ПП Ленсовнархоза, Ленинград,  
Измайловский пр., 29

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

*ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ*

**Ронген, Бьерн. Большая Ма.** Роман, перевод с норвежского, 12 изд. л.

Действие романа разворачивается в Норвегии 20-х годов. Он рассказывает о зарождении и первых шагах рабочего движения в стране. С первых страниц книги перед читателем предстает сильный, любовно выписанный образ главной героини — школьной учительницы Марии, связавшей свою жизнь с судьбой молодого рабочего Нильса, с судьбой рабочего класса.

Книга очень лирична, живо написана; она подкупает чистотой помыслов и чувств ее героев.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

*ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ*

**Ладонь поэта.** Сборник стихов, перевод с голландского, 3 изд. л.

В сборник вошли лучшие произведения известных голландских и фламандских поэтов, представляющих передовые тенденции в современной поэзии Нидерландов, которая отличается богатством жанров и поэтических интонаций.

В сборник включены стихотворения и социально-политической тематики, и интимно-лирического содержания.

В нем представлены поэты старшего поколения, а также молодые, но уже завоевавшие себе популярность.





57 коп.





Larisa\_F